И

Библиотека журнала «Иностранная литература»

Джеймс Джойс

Дублинцы



Дублинцы
Джеймс Джойс

Аннотация
Джеймс Джойс. Дублинцы (Рассказы)
Перечитываем Джойса…
Сестры. Перевод М. П. Богословской-Бобровой
Встреча. Перевод И. К. Романовича
Аравия. Перевод Е. Д. Калашниковой
Эвелин. Перевод Н. А. Волжиной
После гонок. Перевод В. М. Топер
Два рыцаря. Перевод В. М. Топер
Пансион. Перевод Н. А. Волжиной
Облачко. Перевод М. П. Богословской-Бобровой
Личины. Перевод Е. Д. Калашниковой
Земля. Перевод Е. Д. Калашниковой
Несчастный случай. Перевод Н. Л. Дарузес
В день плюща. Перевод Н. Л. Дарузес
Мать. Перевод Н. Л. Дарузес
Милость божия. Перевод И. К. Романовича
Мертвые. Перевод О. П. Холмской
Джакомо Джойс. Перевод с английского Н. Киасашвили

Аннотация

В книгу вошли ранние реалистические рассказы из сборника «Дублинцы» и лирическая зарисовка «Джакомо Джойс» выдающегося ирландского писателя Джеймса Джойса, 100 лет со дня рождения которого исполнилось в 1982 году. В «Дублинцах» Джойс поставил перед собой задачу «написать главу духовной истории своей нации», в «Джакомо» – передать внутренние метания своего героя.

Джеймс Джойс
Дублинцы (Рассказы)

Перечитываем Джойса…

В конце тридцатых годов Всеволод Вишневский, автор «Оптимистической трагедии», был в Париже. В ту пору там жил ирландский писатель Джеймс Джойс. Шумно-скандальный успех, выпавший на долю его романа «Улисс» (1922), сделал его не меньшей достопримечательностью города, чем Эйфелева башня или собор Парижской богоматери. Встречи с Джойсом, его литературного благословения искали начинающие писатели, те, кто через четверть века сами стали классиками, — Эрнест Хемингуэй, Скотт Фицджеральд.

Всеволод Вишневский, писатель другого мира и другой литературы, тоже попросил метра о встрече. Джойс нехотя согласился. Уставший от борьбы с цензорами, издателями, требовавшими от него всевозможных уступок буржуазной оградительной морали, от судебных процессов, в результате которых его роман «Улисс» был объявлен порнографическим и сожжен в Англии, он не видел никакого смысла в том, чтобы разговаривать с представителем совершенно неизвестной ему страны, где, как он был уверен, никто не знает его

книг. Джойс был потрясен, когда Всеволод Вишневский сказал: «Вас переводили у нас с 1925 года, то есть ранее, чем во многих других странах»[1].

Действительно, первая публикация Джойса по-русски состоялась в 1925 г. на страницах альманаха «Новинки Запада». Это был заключительный, восемнадцатый эпизод «Улисса» — «Пенелопа». В 1927 г. в Ленинграде были опубликованы избранные рассказы из сборника «Дублинцы». Полный же текст этого сборника вышел в 1937 г. в Москве: издание было подготовлено Первым переводческим объединением под руководством И. Кашкина. Этим же коллективом был осуществлен перевод в середине 30-х годов десяти эпизодов «Улисса». Печатались и стихи Джойса.

История «русского» Джойса — интереснейшая страница в нашей культуре тех лет. Его проза осваивалась в горячих спорах, отличавших ту бурную эпоху. У него были свои защитники и свои оппоненты. Одним из последних был литературный критик В. Киршон, в полемику с которым по поводу Джойса, а заодно и по поводу всего нового искусства XX столетия вступил В.

---

[1] notes: 1

В.Вишневский. Собр. соч. в 5-ти томах, т. 6 (дополнительный). М., «Художественная литература», 1961, с. 434–435.

Вишневский. «Ты грубо ведешь себя… — писал В. Вишневский В. Киршону. — Попробуй прочесть Джойса (трех периодов: 1912, 1922, 1932–1933 гг.), дай анализ и выступи с публичной оценкой объекта, который вас так тревожит и раздражает… Ты долбишь в запале о классическом наследстве. Очевидно, где-то наследство внезапно кончается (на Чехове?) и дальше… идет всеобщая запретная зона! «Тут плохо, и не ступите сюда»… Но как все-таки быть: существует мир, человечество, классы, идет борьба. Есть искусство (Чаплин, Гриффит, Джойс, Пруст, Барбюс, Жироду, Ремарк, Роллан, Уэллс, Тагор, Киплинг и др.). Оно сложно, в нем непрерывные столкновения и изменения… Не было «запретных» книг для Маркса, Ленина. В познании жизни надо брать все. (Дело уменья, конечно.)»[2].

Почитателем Джойса был и Сергей Эйзенштейн. В 1929 г. в курсе лекций по истории кино в Лондоне он заметил, что произведения Джойса — наиболее яркое подтверждение его теории монтажа. В 1930 г. С. Эйзенштейн посетил Джойса в Париже: он собирался экранизировать «Улисса». Во многих статьях режиссера рассеяны его

[2] notes: 2

В. Вишневский. Собр. соч. в 5-ти томах, т. 6 (дополнительный). М., «Художественная литература», 1961, с. 434–435.

суждения о произведениях Джойса: «Улисс», конечно, наиболее интересное для кинематографии явление на Западе...», «...деанекдотизация и непосредственное выявление темы через сильно действующий материал. Совсем стороной от сюжета, только еще из добросовестности фигурирующего в произведении»[3].

Сейчас это уже история, страница прошлого... Публикации Джойса тридцатых годов давно превратились в раритеты: не всякая, даже самая крупная библиотека страны может похвастаться тем, что в ее фондах есть «Дублинцы» издания 1937 г., полный комплект журнала «Интернациональная литература» с эпизодами «Улисса»...

Как это ни парадоксально, учеников Джойса: Хемингуэя, Фолкнера, Дос Пассоса, Шона О'Кейси, Т. Вулфа — советский читатель узнал много раньше, чем самого Джойса. Перечень имен далеко не полный, да он и не может быть полным. Джойсовское слово давно уже стало словом в творческой лексике писателей XX века.

Столетие Джойса (1882–1941) отмечается по решению ЮНЕСКО во всех странах мира. Запись

---

[3] notes: 3

С. Эйзенштейн. Избранные произведения. В 6-ти томах, т. 5, М., «Искусство», 1963, с. 526. Об отношении С. Эйзенштейна к Джойсу см. также статьи «Автобиографические заметки», «Одолжайтесь!», «Гордость».

в юбилейном списке Комитета гласит: «Джеймс Джойс — классик ирландской литературы XX века, мастер психологически тонких новелл в сборнике рассказов «Дублинцы».

Переиздание этого сборника, вышедшего в нашей стране почти полвека тому назад, — дань не только Джойсу. Это дань уважения и глубочайшей признательности переводчикам, которые в те давние годы, когда наследие Джойса только начинали изучать, а под рукой не было компетентной справочной литературы, столь необходимой в работе над текстом этого писателя, взялись за благородную, пусть и дерзкую задачу — ввести талантливого ирландского писателя в нашу культуру.

В 1968 г., то есть больше четверти века спустя после смерти писателя, к нам вдруг пришел и совсем неизвестный Джойс. Это маленькое произведение в шестнадцать страниц со странным названием «Джакомо Джойс» было приобретено крупнейшим американским джойсоведом Ричардом Эллманом у какого-то европейского коллекционера, который пожелал сохранить свое имя в тайне. Благодаря усилиям профессора Н. А. Киасашвили, автора перевода «Улисса» на грузинский язык, «Джакомо Джойс» вскоре по-

явился на грузинском и русском[4].

Соединение этих двух произведений под обложкой юбилейного издания не случайность. Джойс — это не только «Дублинцы», вершина ирландской реалистической литературы начала века. Джойс — это и глубоко новаторский, дерзко экспериментальный роман «Улисс» — евангелие модернистской эстетики, крупнейший памятник мифологического искусства XX века, это и роман-шифр, апофеоз литературной эксцентрики, «Поминки по Финнегану». «Джакомо» — звено, соединяющее «двух Джойсов».

Джеймс Августин Алоизиус Джойс родился 2 февраля 1882 г. в Дублине. Его детство и юность совпали со сложным периодом в истории Ирландии. Кумиром ирландской интеллигенции тех лет был Чарльз Стюарт Парнелл (1846–1891), которого В. И. Ленин назвал «знаменитым вождем ирландских националистов»[5]. Парнелл умело и стойко боролся за гомруль — право Ирландии на самоопределение. Английские власти, чувствовавшие себя полноправными хозяева-

[4] notes: 4

Джакомо Джойс. Перевод и комментарий Н. Киасашвили. «Цискари», 1969, № 11 (на груз. яз.), «Литературная Грузия», 1969, № 9–10.

[5] notes: 5

Ленин В. И. Полн. собр. соч., 4-е изд., 1948, т. 19, с. 300.

ми в Ирландии, видели в Парнелле реального противника. Судьба его оказалась такой же, как судьбы тех ирландских революционеров, кто на протяжении всей истории этой порабощенной, раздираемой глубокими внутренними противоречиями страны отдавал свою жизнь за свободу Ирландии. Он был предан. Любовная связь Парнелла с замужней женщиной Китти О'Ши была ловко использована официальной церковью. Вступив в сговор с английскими властями, в частности с Гладстоном, бывшим в то время премьер-министром, ирландская католическая церковь предала греховную связь Парнелла анафеме. Не только его соратники, но и народ, одураченный церковниками-фарисеями, отвернулись от Парнелла. Затравленный, он вскоре умер, а вместе с ним на годы были погребены надежды Ирландии на свободу.

В среде либеральной ирландской интеллигенции, к которой принадлежала семья Джойса, гибель Парнелла воспринималась как национальная трагедия. Отец Джеймса Джойса, Джон Джойс, так и не оправился после смерти вождя и научил сына видеть ирландскую историю как непрекращающуюся цепь предательств, ненужных жертв.

Обстановка дома в миниатюре отражала конфликт всей ирландской жизни — конфликт политики и религии. То, что восхищало отца, возмущало мать, ревностную католичку, оказавшую немалое влияние на формирование личности сына, а то, чему поклонялась она, едко высмеивалось не только отцом, но и дядей Чарльзом, ирландским революционером-повстанцем, часто скрывавшимся в доме Джойсов от преследования английских властей.

По настоянию матери Джойс поступает в иезуитский колледж, где получает блестящее по тем временам образование. Благодаря своим недюжинным способностям к философии, истории, языкам, литературе Джойс быстро обращает на себя внимание преподавателей. По окончании колледжа ему предлагают принять духовный сан. Но сомнение, зароненное в душу отцом, уже дало свои всходы. Ирландская католическая церковь предала Парнелла, запретила Ибсена, кумира молодого Джойса, врага любых форм косности в искусстве, политике, морали.

Джойс порывает с религией. За этим решительным шагом следуют другие. Он, уже осознавший себя писателем, резко отмежевывается от ирландской культуры тех лет, а именно от Ирландского

Литературного Возрождения. Задачи поэтов, писателей, художников, объединившихся под флагом этого движения, возродить в стране забытый, древний гэльский язык, забытую, не испорченную цивилизацией культуру казались Джойсу третьестепенными. Ирландское Литературное Возрождение сделало немало для пробуждения национального самосознания, но Джойс увидел в нем только навязчивый национализм. По его убеждению, провинциальной Ирландии нужна была сильная кровь европейской культуры, от которой сторонники Ирландского Возрождения всячески отмежевывались, а не преданья и мифы «старины глубокой».

В 1904 г. Джойс вместе с Норой Барнакль, своей женою, с которой он, эпатируя официальную мораль, отказался вступить в церковный брак, покидает Ирландию. Он объявляет друзьям, что отправляется в изгнание — лишь там, вдали от пут ирландской жизни он сможет выполнить свое предназначение — сказать правду о своей родине, правду, которая пробудит от духовной спячки его народ.

В 1912 г. Джойс делает неудачную попытку вернуться в Ирландию. Его приезд окончился скандалом, разразившимся в связи с публикаци-

ей «Дублинцев». Издатель, набрав рукопись, все же в последний момент испугался смелости критики Джойса и счел для себя за лучшее не просто отказать молодому писателю, но и сжечь гранки. Джойс с проклятиями покинул страну. Проходят годы, судорожно мелькают города: Париж, Триест, Рим, снова Париж, Цюрих. Джойс бедствует, Джойс пишет для газет, работает клерком в банке, преподает английский язык — и пишет, пишет, пишет. Годы, которые он тратил на свои произведения: сборник рассказов «Дублинцы», роман «Портрет художника в юности»[6], «Улисс», «Поминки по Финнегану», — продолжались в годах борьбы с издателями, восклицавшими в сердцах, что они не могут печатать то, чего не понимают, с критиками, которые не могли оценить книги Джойса с точки зрения принятых литературных норм. Изгнание тянулось более четверти века. Оно оборвалось вдали от Дублина, в небольшой больнице Цюриха…

Не раз друзья Джойса, видные деятели ирландской культуры, звали Джойса вернуться на родину. Но даже когда У. Б. Йейтс прислал официальное приглашение стать членом Ирландской

---

[6] notes: 6
«Иностранная литература» 1976, № 10, 11, 12. 10

академии литературы, Джойс ответил отказом. И все же вдали от родины сердцем и умом он был с ней. Лучшим подарком были дублинские афиши, трамвайные билетики, вырезки из ирландских газет. В изгнании этот суровый, непримиримый критик ирландской жизни писал только об Ирландии. Вместе со своими героями за письменным столом в Триесте и Цюрихе, за столиком кафе в Париже он совершал длительные прогулки по улицам Дублина. Если Дублин, говорил он, когда-нибудь разрушат, «его можно будет восстановить по моим книгам».

«Дублинцы» (1905–1914) — первое зрелое произведение Джойса. Поэтический сборник «Камерная музыка», в котором Джойс в словесной форме постарался воскресить забытые мелодии елизаветинской эпохи и заодно воплотить заветы европейского символизма, короткие прозаические зарисовки-«епифа-нии» и ибсеновская по теме и тональности пьеса «Блестящая карьера», как и аморфный автобиографический роман «Стивен-герой», — только пробы пера молодого литератора, нащупывающего свой путь в искусстве.

Значение «Дублинцев» выходит за рамки лишь творчества Джойса. Это первое реалистическое

произведение ирландской литературы XX века. И, наконец, «Дублинцы» — новый этап в развитии европейской новеллистики, не менее важный, чем чеховская проза.

Русский читатель «Дублинцев» непременно задаст себе вопрос: а нет ли прямого влияния Чехова на прозу ирландского автора? Сам Джойс, когда его спрашивали об этом, отвечал отрицательно: нет, он не был знаком с творчеством Чехова в пору работы над «Дублинцами». Но кажется, что чеховские персонажи: все эти жалкие, влачащие свои дни в пропыленных конторах клерки, люди «в футлярах», пошлые нувориши, интеллигенты, не знающие, куда приложить свои силы, женщины, задыхающиеся без любви, — «перекочевали» на страницы «Дублинцев». «Облачко» — это же «Толстый и тонкий». Было два приятеля. Один преуспел, а другой так и остался ничем и вот теперь на того, преуспевшего, взирает с подобострастием. А по сути оба пошлы и ничтожны. В «Личинах» просматривается «Смерть чиновника» — та же пошлость пошлого человека; в «Несчастном случае» — «Дама с собачкой» и «Человек в футляре». Или же вдруг мелькнет, как в концовке лучшего рассказа сборника — «Мертвые», образ снега из эпилога

«Трех сестер».

Близость творческих установок ощутима и в поэтике. Оба писателя видели зловещие признаки духовного нездоровья своих современников в мелочах быта, поведении, походке, интонации — там, где другая рука, привыкшая к более размашистым мазкам, не нашла бы ничего заслуживающего внимания. Описывая в своих рассказах эту область житейских неурядиц, утверждая бесфабульность как художественную норму, Джойс и Чехов обосновывали новый тип эстетики. В мире, где всем завладела пошлость, нет и не может быть ничего нового. Рассказывать не о чем, можно лишь бесстрастно фиксировать в слове тягостное течение жизни. Боясь оказаться навязчивым, автор как бы предоставляет возможность читателю самому читать текст. Но текст так продуман и до такой степени драматизован, что и в самом деле есть только одна возможность, в одном-единственном месте текста написать: «Идет дождь».

Голос автора чаще всего заглушен многоголосием других персонажей. Голоса живут в прозе, в словах, передающих социальный уровень, духовное развитие, представления о нравственности. В этой новой прозе, где повествовательные воз-

можности классического текста (проза Пушкина, Диккенса, Теккерея), как писал Горький, доведены до предела, приговор произносит не автор, но слово.

«Моим намерением, — писал Джойс, — было написать главу из духовной истории моей страны, и я выбрал местом действия Дублин, поскольку, с моей точки зрения, именно этот город является центром паралича».

Паралич для Джойса — это символ ненавистных ему пороков современной ирландской жизни: косности, низкопоклонства, коррупции, культурной отсталости, бездуховности. Дублин интересовал его не только как город, жизнь и нравы которого ему были знакомы до мелочей, но и как одна из древнейших столиц мира, то есть как воплощение города, а следовательно и многообразия социальной и духовной жизни человека.

Эту книгу отличает удивительная цельность. Эстетическим фундаментом «Дублинцев» стала математически точно рассчитанная Джойсом теория прекрасного, три «кита» которой — «полнота, гармония, озарение».

Нет смысла сейчас вникать в метафизический смысл этих категорий — тогда пришлось бы об-

ратиться и к Фоме Аквинскому и Аристотелю, которых Джойс внимательно изучал. Полнота — многоплановое изображение жизни человека и общества. «Я пытался, — писал Джойс, — представить жизнь Дублина на суд беспристрастного читателя в четырех аспектах: детство, отрочество, зрелость, общественная жизнь». Гармония — строго продуманная последовательность произведений, установленная самим писателем: «Сестры», «Встреча», «Аравия» — рассказы о детстве; «Эвелин», «После гонок», «Два рыцаря», «Пансион» — о юности; «Облачко», «Личины», «Земля», «Несчастный случай» — о зрелости; «В день плюща», «Мать», «Милость божия» — рассказы об общественной жизни, их сложная внутренняя, тематическая, идейная, интонационно-стилистическая связь друг с другом и с общим замыслом сборника. И наконец, озарение — художественный приговор. Озарение есть и в каждом рассказе (это концовка, выделяющаяся из всего повествования особой ритмической организацией прозы), и во всем сборнике (рассказ «Мертвые», в котором тема физической и духовной смерти и духовного возрождения звучит особенно пронзительно).

«Сестры» — своего рода лирический пролог:

слою «паралич» несколько раз встречается в рассказе и в конце концов превращается в лейтмотив, настойчиво напоминающий, что паралич — это не только болезнь, сразившая отца Флинна, но и духовное состояние мира, в который входит ребенок.

Одной из главных причин духовного паралича Джойс считает ирландский католицизм. Отец Флинн, неподвижный, с загадочно-пустой улыбкой на искаженном болезнью лице, воспринимается как символ ирландской церкви. С этим символом тесно связан и другой — чаша для причастия, которая, в свою очередь, обозначает духовную полноту жизни, но ее-то Джойс и не видит в ирландской религии.

С детства у юных ирландцев рушатся надежды, их «чаши» дают трещину от самого первого соприкосновения с действительностью. Радостное чувство открытия прекрасного мира омрачается в рассказе «Встреча» беседой со странным незнакомцем. Грязь, пошлость властно вторгаются в детский справедливый мир.

Но не только в большом мире царят холод, враждебность и пошлость. Нет тепла, понимания, сочувствия и дома. В рассказе «Аравия» сокровенная мечта мальчика купить своей подруге

подарок, какой-нибудь пустячок, на благотворительном базаре грубо разбивается о черствость взрослых, забывших про его просьбу. В своих мечтах герои Джойса уносятся в далекие восточные страны, на Дикий Запад, в привольное царство ковбоев. Но как только мечта попадает в сонное царство Дублина, на нее сразу же ложится печать тления. Дублинский благотворительный базар с заманчиво звучащим восточным названием «Аравия» — жалкая пародия на настоящий праздник.

И вот детство позади. Следующая стадия — юность. Эвелин, героиня одноименного рассказа, хотя и понимает, что в Ирландии ее ожидает участь не лучшая, чем судьба сошедшей с ума матери, не в силах порвать с тупой работой, убожеством дома, всем монотонным существованием. Трагедия не только Эвелин, но целого поколения ирландцев в том, что они не могут стряхнуть путы.

Те, кто остаются в Ирландии, обречены превратиться в героев рассказа «После гонок». Джим, сын дублинского мясника (деталь для Джойса весьма значительная), достойный представитель ирландской «золотой молодежи», с юности включился в бессмысленные гонки по жизни.

В рассказе «Два рыцаря» жестоко высмеян моральный кодекс молодых людей, которые не гнушаются никакими средствами — лишь бы раздобыть денег. Само название глубоко иронично: рыцарь, идеал мужской добродетели минувших столетий, в аморальном мире Дублина превратился в жалкого сутенера.

В джойсовском рассказе о ловле жениха («Пансион») нет ничего комического. Нудный и вязкий быт исключает радость. В этом царстве мясников (отец героини — тоже мясник), расчетливых матерей, девушек, не имеющих никакого нравственного чувства, жить не скучно, но жутко.

В рассказах о зрелости (они же повествуют и об общественной жизни Дублина) перед читателем проходит вереница несостоявшихся людей, которых Джойс видит и в среде буржуазии, и интеллигенции, и рабочих. Паралич охватил все слои ирландской жизни.

Джойс лепит характер из полутонов: в самом отпетом человеке он видит человеческое, а потому сторонится поспешных, скорых выводов. Даже когда степень нравственного падения оказывается сокрушительной, когда мало или же вовсе нет надежды на возрождение (клерк Фэррингтон в рассказе «Личины»), Джойс заставляет

нас понять причины краха. Авторская позиция проявляется в случайных, на первый, быстрый взгляд почти незаметных деталях. Но в прозе, в которой нет ничего случайного, не случайно и частое, почти назойливое определение «человек» по отношению к Фэррингтону. Оно подчеркивает обезличенность в овеществленном мире, сознательную стертость личности, но оно же без ненужной патетики напоминает читателю, что даже «бывший» человек — человек.

Джойсовская деталь несет огромную нагрузку в тексте — ее правильное понимание может решительным образом изменить все видение рассказа. Поначалу кажется, что Джойс симпатизирует Крошке Чендлеру из рассказа «Облачко»: он порядочен, особенно по сравнению с Галлахером, он любит стихи, мечтает о творчестве. Но поэтический ореол, окружающий его, начинает тускнеть, когда мы внимательнее вчитываемся в детали: Chandler — «свечный фабрикант», «торговец свечами» — нет, он не та свеча, которая рассеет мрак Дублина. Да и поэзия, вызывающая его восхищение, — всего лишь незрелые юношеские стихи Байрона.

Джойсу совсем не свойственна сентиментальность и слащавость в обращении с его «маленьки-

ми людьми». Но именно такой суровый реализм рождает неподдельное сочувствие. Ему искренне жаль прачку Марию из рассказа «Земля» — она жертва безжалостной, тупой жизни. Щемящей грустью пронизана сцена, когда Мария поет песню «Мне снилось, что я в чертогах живу» и повторяет строчку о чертогах и недоступной ей любви дважды.

Джойс не лишает своих героев надежды на другую жизнь. Для мистера Даффи из рассказа «Несчастный случай» такой возможностью стала встреча с полюбившей его миссис Синико. Но он, в своем эгоизме и гордыне, отверг этот драгоценный дар, а миссис Синико, не перенеся разлуки, покончила с собой. И хотя судебное разбирательство никого не сочло виновным — недаром Джойс предпослал столь ироничное, остраненное заглавие рассказу: «Несчастный случай», — для автора нет прощения человеку, убившему живую душу другого.

«В день плюща», «Мать», «Милость божия» — наиболее сатирические рассказы «Дублинцев»; здесь мишень Джойса — ирландская политика, искусство, религия.

В рассказе «В день плюща» нарисована картина выборов в муниципальный совет города. Хотя

члены комитета носят листок плюща в память о Парнелле (действие происходит в годовщину смерти вождя), хотя его имя у всех на устах, а один из персонажей читает в память о нем стихотворение, предательство «некоронованного короля» Ирландии продолжается. Члены комитета, мнящие себя патриотами, собирают голоса в пользу трактирщика. Парнелл стал для ирландцев все той же мечтой, прекрасной и далекой, как Восток. Джойс безжалостно развенчивает ненавистные ему ирландские грезы и самообман, вводя в текст комическую, снижающую деталь: звук «пок!» — звук вылетающей из бутылки пробки, — вот жалкий салют в честь великого человека.

Ядовитой иронией пропитан весь рассказ «Мать», в котором высмеивается ажиотаж, поднятый вокруг Ирландского Возрождения. Джойс описывает тех псевдодеятелей ирландской культуры, которые поспешили нагреть руки на национальных чувствах. Этим пошлым, пристроившимся к истории людям все равно чему служить и чему поклоняться.

Пошлость царит и в той области ирландской жизни, где духовность полагается «по штату», — в рассказе «Милость божия» Джойс рисует сокрушительный в своем сарказме образ деляги-

священника, излагающего учение Иисуса Христа на бухгалтерско-банковский манер.

В первоначальном замысле Джойса «Милость божия» завершала цикл. И если вглядеться в структуру рассказа, можно заметить, как Джойс подводит социальный итог своей повести о пошлой жизни. Буржуа разных калибров, с которыми мы по отдельности встречались в предыдущих рассказах, все эти продажные отцы города, владельцы ссудных касс, лицемерные репортеры — заполонили церковь, куда пришел покаяться в своих грехах герой, Кернан. Интересно отметить, что с некоторыми персонажами мы знакомы по предыдущим рассказам: с агентом предвыборной кампании мистером Фэннингом («В день плюща»), с репортером мистером Хендриком («Мать»). Возвращение к старым персонажам позволяет Джойсу создать ощущение единого мира. Важно и еще одно обстоятельство: мир Джойса — не фотография с замершими фигурами. Его мир находится в постоянном движении. В этом рассказе читатель «видит», как усаживается один, как поправляет шляпу другой, а третий перешептывается с соседом. Создать эффект живой жизни в слове Джойсу помог прием монтажа, который он впервые использовал в этом рассказе и

который станет одним из основных моментов его поэтики в «Улиссе». Функцию движущейся камеры выполняет взгляд героя рассказа Кернана. Вот он выхватил какое-то лицо из общей картины, более подробно остановился на детали, внезапно привлекшей его внимание, потом продолжил свое движение по рядам молящихся и тем самым объединил частности в целое.

Однако социального «озарения», социальной истины было недостаточно Джойсу для выполнения его конечной задачи; ему еще было нужно и этико-нравственное «озарение». Им стал рассказ «Мертвые», написанный после завершения всего цикла, шедевр не только психологической прозы раннего Джойса, но и всей английской новеллистики XX века. Это история прозрения Габриела Конроя, педагога и журналиста, самоуверенного человека, души общества, блестящего оратора, прекрасного мужа. И вдруг оказывается, что все это — фикция. Габриел Конрой, так гладко и красиво рассуждающий об ирландском духе, не хочет отдать свои силы родине, и его любование национальными обычаями — не более чем поза.

Показав социальную несостоятельность своего героя, Джойс подвергает его другой, еще более жестокой и важной для него проверке — экзамену

на человечность. Сцена «человеческого» разоблачения Габриела Конроя происходит, когда он узнает причину тяжелого настроения своей жены Греты. Старинная ирландская баллада вызвала в памяти Греты образ Майкла Фюрея, юноши, который некогда любил ее и умер после того, как простоял под дождем у ее окна в вечер разлуки.

Горькая ирония в том, что умерший Майкл Фюрей — единственно живой в веренице духовных мертвецов «Дублинцев», поскольку в своей жизни руководствовался самым важным законом — законом любви. Он тот, кто разбудил не только Грету, но и Габриела от духовной спячки.

Темы, занявшие центральное место в западной прозе XX века: взаимонепонимание, немота, отчужденность людей друг от друга и от мира, одиночество, мучительные поиски своего «я», — были развиты Джойсом в этом рассказе еще в начале столетия.

Проза «Дублинцев» — проза урбанистическая. Дублин — настоящий герой рассказов. Его самостоятельная жизнь лишь подчеркивает ощущение заброшенности персонажей Джойса. Они кружат по его улицам, а город молча, без сострадания взирает на них. И только в «Мертвых» действие — если можно определить происходя-

щее с Конроем этим словом — переносится на природу: спертая, застоявшаяся атмосфера разряжается потоком морозного воздуха. Прекрасная, лирическая в своей тональности картина падающего снега, примиряющего все горести и разрешающего все противоречия, выполняет конечную задачу Джойса — соединить «сейчас и здесь» с вечностью.

«Джакомо Джойс»... О чем это небольшое произведение, своим странным графическим расположением текста напоминающее поэтические экзерсисы Малларме?

История его создания такова. В 1912–1916 гг. Джойс жил в Триесте. Заканчивал «Портрет художника в юности», работал над пьесой «Изгнанники», обдумывал «Улисса», зарабатывал на жизнь, давая уроки английского языка, и вдруг влюбился в свою ученицу, молоденькую итальянскую еврейку Амалию Поппер.

Трудно сказать, каким в действительности было чувство Джойса. Факты упрямо свидетельствуют, что многое придумано и домыслено им. Но дело, конечно, не в этом. На страницах «Джакомо» бьется чувство, которое представил себе Джойс, чувство, которое обрушилось на писателя, вдруг ощутившего, что молодость прошла...

Наверное, содержание этой вещи, если вообще понятия традиционной поэтики хоть как-то приложимы к тексту, в котором все — порыв, ощущение, прикосновение, движение, передают слова поэта:

О беззаконьях, о грехах,
Бегах, погонях,
Нечаянностях впопыхах,
Локтях, ладонях…

Это проза об остановленном мгновении, о заблудившемся времени, о мучительном прощании с юностью, о так трудно завоеванной зрелости…

У «Джакомо» нет ни начала, ни конца; трудно определяется жанровая принадлежность этих страниц. В самом деле, что это — записная книжка, дневник, эссе, этюд, новелла? И причина вовсе не в том, что Джойс не предназначал это произведение для печати. Зыбкость текста, его незавершенность сознательны. В них уже отчетливо проглядываются новаторские, незнакомые западной прозе тех лет черты.

«Джакомо» неминуемо приближает нас к «Улиссу». На этих шестнадцати страницах была опробована новая поэтика, с помощью которой

эпос человеческой жизни, эпос духа и тела, истории и частной жизни был вмещен в границы одного ничем не примечательного летнего дня — 16 июня 1904 г., самого длинного дня в истории мировой литературы, растянувшегося до размеров вечности.

Сопряжение реальной, сиюминутной жизни, то, что Джойс назвал «сейчас и здесь» — любовь ли это к молоденькой ученице или история дублинского рекламного агента Леопольда Блума, — с вечным, введением героев в плоть мифа происходило в сознании. Мир, опрокинутый в сознании, сознание, отражающее и одновременно творящее мир по своим законам.

Первая зарисовка «Джакомо» — впечатление, сначала зрительное, потом слуховое. Герой еще не успел осознать образ, и потому он окутан дымкой слова. Перед читателем возникает не просто внутренний монолог героя, знакомый нам по классической прозе, перед нами «поток сознания». Ассоциация, прихотливая, капризная, внезапно рождающаяся и столь же внезапно ускользающая, творит мир — реальный и фантасмагоричный. Парижское утро, утро расставанья, разрыва, утро, когда была предана любовь, вдруг становится и другим утром — тем, в Иудее, где

предали Христа, где было холодно, где внезапно заметались коптящие факелы, где злоба полоснула глаза. Миф с его вечной идеей повторяемости, непрерывности (Амалия — это и Беатриче Данте, и Беатриче Ченчи, и вавилонская блудница, и смуглая дама сонетов Шекспира, и воплощение вечной женственности) упорядочивает хаос этого расщепленного, мятущегося сознания.

Или вдруг образ, который только что был пластичным, подчинившись скрытым импульсам, нереализованным желаниям, вырвавшимся из стихии подсознательного, у нас на глазах корчится, искажается, превращаясь в жуткий гротеск.

В этой поэтике важно все. Цвета, цветовая гамма: золотисто-теплая, сочно-зеленая, серо-сиреневато-белая, черно-бурая, тускло-зеленая — тоже передает превратности чувства: восторг, влечение, ревность, страсть, отчуждение, охлаждение. Мир «Джакомо» наполнен и «симфонией запахов», и ощущениями (холод утра, прикосновение пальцев…), звуками (смех, слезы, стук каблучков, цоканье копыт, свист летящих санок, шорох, молитва, шепот страсти), игра светотени (свет — любовь, тьма — отчаянье). Даже в графическом расположении зарисовок — то они значительно отстоят друг от друга, то, напротив,

тесно смыкаются — отразилась жизнь души. К концу паузы сокращаются: проза «торопится», стараясь угнаться за множащимися в сознании образами.

В своих произведениях Джойс не раз воплощал собственный жизненный опыт, «списывал» героев, например, Стивена Дедалуса, с которым читатель встречается и в «Портрете художника в юности», и в «Улиссе», с себя. Но, возвращаясь к себе, Джойс уходит от себя — уходит, создавая ироническую дистанцию и тем самым — образ. Благодаря автоиронии возникает дополнительное измерение в прозе «Джакомо». Собственно, ироническое видение задано уже в самом заглавии. Джакомо — не только итальянский вариант английского имени Джеймс. Джакомо — это и имя знаменитого Казановы. Иными словами, влюбленный Джойс обнаженно поведал нам свою любовную историю, но при этом незаметно остранился, назвав себя Джакомо и тем самым показав и комический смысл происшедшего.

Смех был великой стихией его зрелого творчества, способом снятия мировоззренческих противоречий, великой разрешительной силой. В смехе, как в самой природе, мир вечно обновляется. История любви к Амалии, история

страсти, история смятения души, возвращения в лоно семьи, увиденные и пережитые иронически (недаром у «Джакомо» фривольно-комическая концовка: «Посылка: любишь меня, люби мой зонтик»), становятся творческим материалом («Пиши, черт тебя подери»), художественным конспектом «Улисса».

Не всякий читатель примет прозу «Джакомо». Наверняка найдутся и такие, кто, запутавшись в его временных, стилевых, звуковых переходах, раздраженно отмахнется, сказав: «Заумь». Да. Это — трудное искусство.

Вновь вспоминается, как и в связи с «Дублинцами», М. Горький. Потрясенный прозой (новой прозой) Чехова в «Даме с собачкой», он писал: «Знаете, что Вы делаете? Убиваете реализм... Дальше Вас никто не может идти по сей стезе, никто не может написать так просто о таких простых вещах»[7].

Джойс пошел дальше по пути поиска предельного значения слова, максимальной выразительности фразы. Его поиск увенчался удивительными находками: он действительно был чародеем, который мог делать со словом все что угодно.

---

[7] notes: 7

Горький М. Полн. собр. соч., в 30-ти томах, М., «Художественная литература», 1954, т. 28, с. 113.

Но его открытия шли рука об руку с неудачами: в конце его творческого пути вздыбилась громада «Поминок по Финнегану» — произведения некоего нового синтетического жанра, сочетания слова с музыкой, этого «материализовавшегося безумия» писателя, рассчитанного на того, кто сделает освоение текста делом жизни.

Но предоставим слово самому Джойсу. Работая над «Поминками» («моими поминками, как грустно острил Джойс), он вдруг заметил, что хотел напечатать что-нибудь простое и изящное, как «Джакомо». Поиск, даже такой дерзновенный, как поиск Джойса, должен иметь предел…

Е. Гениева

Перевод с английского под редакцией И. А. Кашкина

Сестры
Перевод М. П. Богословской-Бобровой

На этот раз не было никакой надежды: это был третий удар. Каждый вечер я проходил мимо дома (это было время каникул) и разглядывал освещенный квадрат окна; и каждый вечер я находил его освещенным по-прежнему, ровно и тускло. Если бы он умер, думал я, мне было бы видно отражение свечей на темной шторе, потому что я знал, что две свечи должны быть зажжены у изголовья покойника. Он часто говорил мне: «Недолго мне осталось жить на этом свете», и его слова казались мне пустыми. Теперь я знал, что это была правда. Каждый вечер, глядя в окно, я произносил про себя, тихо, слово «паралич». Оно всегда звучало странно в моих ушах, как слово «гномон»[8] у Евклида и слово «симония»[9]

---

[8] notes: 8

Древнейший вид астрономического инструмента — вертикальный столбик для определения полуденной линии.

[9] notes: 9

Продажа и покупка духовных должностей, священного сана, отпущение грехов за деньги, широко практиковавшиеся в средние века римскими папами.

в катехизисе. Но теперь оно звучало для меня как имя какого-то порочного и злого существа. Оно вызывало во мне ужас, и в то же время я стремился приблизиться к нему и посмотреть вблизи на его смертоносную работу.

Старик Коттер сидел у огня и курил, когда я сошел к ужину. Когда тетя клала мне кашу, он вдруг сказал, словно возвращаясь к прерванному разговору:

— Да нет, я бы не сказал, что он был, как говорится… Но что-то с ним было неладно… Странно, что он… Я вам скажу мое мнение…

Он запыхтел трубкой, будто собираясь с мыслями. Скучный, старый болван!

Когда мы только познакомились с ним, он все-таки казался интересней, рассказывал нам о разных способах перегонки, но очень скоро надоел мне этими бесконечными разговорами о винокурении.

— У меня, видите ли, своя теория, — сказал он. — По-моему, это один из тех исключительных случаев… но, впрочем, трудно сказать…

Он опять запыхтел трубкой, так и не поделившись с нами своей теорией. Тут дядя заметил мои удивленные глаза.

— Печальная новость, — сказал он, — скончался

твой старый друг.

— Кто? — спросил я.

— Отец Флинн.

— Он умер?

— Да вот мистер Коттер только что рассказал нам об этом. Он проходил мимо дома.

Я знал, что за мной наблюдают, а поэтому продолжал есть, как будто это известие совсем не интересовало меня. Дядя пояснил Коттеру:

— Они с мальчишкой были большие друзья, старик многому научил его; говорят, он был очень привязан к нему.

— Царство ему небесное, — сказала тетя набожно.

Старик Коттер присматривался ко мне некоторое время. Я чувствовал, что его черные, как бусины, глаза пытливо впиваются в меня, но я решил не удовлетворять его любопытства и не отрывал глаз от тарелки. Он опять занялся своей трубкой и наконец решительно сплюнул в камин.

— Я бы не допустил, — сказал он, — чтобы мои дети водились с таким человеком.

— Что вы хотите сказать, мистер Коттер? — спросила тетя.

— Я хочу сказать, — пояснил Коттер, — что это

вредно для детей. Мальчик должен бегать и играть с мальчиками своего возраста, а не… Верно я говорю, Джек?

— И я так думаю, — сказал дядя. — Вот и этому розенкрейцеру я всегда говорю: делай гимнастику, двигайся, да что там — когда я был таким сорванцом, как он, зиму и лето первым делом, как встанешь, холодной водой… Теперь-то вот я и держусь. Образование — все это очень хорошо и полезно, но… Может быть, мистер Коттер скушает кусочек баранины, — заметил он тете.

— Нет, нет, пожалуйста, не беспокойтесь, — сказал Коттер.

Тетя принесла из кладовки блюдо и поставила его на стол.

— Но почему же вы думаете, мистер Коттер, что это нехорошо для детей? — спросила она.

— Это вредно для детей, — ответил Коттер, — потому что детские умы такие впечатлительные. Когда ребенок видит такое, вы что думаете, это на него не влияет?

Я набил полон рот овсянки, чтобы как-нибудь нечаянно не выдать своей злобы. Скучный, старый, красноносый дурак!

Я поздно заснул в эту ночь. Хотя я был сердит на Коттера за то, что он назвал меня ребенком,

я ломал голову, стараясь понять смысл его отрывочных фраз. В темноте моей комнаты мне казалось — я снова вижу неподвижное серое лицо паралитика. Я натягивал одеяло на голову и старался думать о рождестве. Но серое лицо неотступно следовало за мной. Оно шептало, и я понял, что оно хочет покаяться в чем-то. Я чувствовал, что я погружаюсь в какой-то греховный и сладостный мир, и там опять было лицо, сторожившее меня. Оно начало исповедоваться мне тихим шепотом, и я не мог понять, почему оно непрерывно улыбается и почему губы его так влажны от слюны. Потом я вспомнил, что он умер от паралича, и почувствовал, что я тоже улыбаюсь, робко, как бы отпуская ему страшный грех.

На следующее утро после завтрака я пошел взглянуть на маленький домик на Грэйт-Бритен-Стрит. Это была невзрачного вида лавка с выцветшей вывеской «Галантерея». В основном там продавали разные зонты и детскую обувь. В обычное время на окне висело объявление — «Перетяжка зонтов». Сегодня его не было видно: ставни были закрыты. Дверной молоток обвязан крепом. Две бедно одетые женщины и рассыльный с телеграфа читали карточку, пришпиленную к крепу. Я тоже подошел и прочел:

1 июля 1895 года.
Преподобный Джеймс Флинн
(бывший священник церкви св. Екатерины на Мит-Стрит)
65 лет.
R. I. P. [10]

Чтение карточки убедило меня в том, что он умер, и я растерялся, наконец поняв случившееся. Если бы он не умер, я вошел бы в маленькую комнату за лавкой и увидел бы его сидящим в кресле у камина, закутанным в пальто. Может быть, тетя прислала бы ему со мной пачку «Отборного», и этот подарок вывел бы его из оцепенелой спячки. Обычно я сам пересыпал табак в его черную табакерку, потому что руки у него слишком дрожали и он не мог проделать этого, не рассыпав половину на пол. Даже когда он подносил свою большую трясущуюся руку к носу, крошки табака сыпались у него между пальцами на одежду. Из-за этого вечно сыплющегося табака его старая священническая ряса приобрела зеленовато-блеклый оттенок, и даже красного носового платка, которым он смахивал осевшие крошки, не хватало — так он чернел за неделю.

---

[10] notes: 10
Да покоится в мире *(лат.)*.

Мне хотелось войти и посмотреть на него, но я не решался постучать. Я медленно пошел по солнечной стороне улицы, читая на ходу все театральные афиши в витринах магазинов. Мне казалось странным, что ни я, ни самый день не были в трауре, и я даже почувствовал неловкость, когда вдруг ощутил себя свободным, — как будто его смерть освободила меня от чего-то. Меня это удивило, потому что в самом деле, как сказал дядя накануне вечером, он многому научил меня. Он окончил Ирландский колледж в Риме и научил меня правильно читать по-латыни. Он рассказывал мне о катакомбах, о Наполеоне Бонапарте, он объяснял мне значение различных обрядов мессы и различных облачений священника. Ему доставляло удовольствие задавать мне трудные вопросы, спрашивать, как поступать в тех или иных случаях, или выяснять, считаются ли те или другие грехи смертными, разрешимыми или просто прегрешениями. Его вопросы открывали мне, как сложны и таинственны те установления церкви, которые я всегда считал самыми простыми обрядами. Обязанности священника в отношении евхаристии и тайны исповеди казались мне такими важными, что я поражался, как у кого-нибудь может хватить мужества принять

их на себя, и я нисколько не был удивлен, когда он рассказал мне, что отцы церкви написали книги толщиной с почтовые справочники, напечатанные таким же мелким шрифтом, как объявления о судебных процессах в газетах, для разъяснения всех этих запутанных вопросов. Часто я не мог дать ему никакого ответа или отвечал, путаясь, какую-нибудь глупость, он же улыбался и кивал головой. Иногда он проверял мое знание ответов[11] во время мессы, которые заставлял меня выучивать наизусть, и, если я сбивался, опять кивал и задумчиво улыбался, время от времени засовывая щепотку табака по очереди в каждую ноздрю. Улыбаясь, он обнажал свои большие желтые зубы, и язык его ложился на нижнюю губу — привычка, от которой я чувствовал себя неловко в первое время нашего знакомства, пока не узнал его ближе.

Шагая по солнечной стороне, я вспоминал слова Коттера и старался припомнить, что случилось после, во сне. Я вспомнил — бархатные занавеси, висячая лампа старинной формы. Я был где-то далеко, в какой-то стране с незнакомыми обычаями — может быть, в Персии… Но я не мог

---

[11] notes: 11

Имеются в виду слова и фразы, произносимые молящимися или хором во время мессы в ответ священнику.

вспомнить конец сна.

Вечером тетя взяла меня с собой в дом покойного. Солнце уже зашло, но оконные стекла домов, обращенные к западу, отражали багряное золото длинной гряды облаков. Нэнни встретила нас в передней. Ей надо было кричать, а это было неуместно, и потому тетя молча поздоровалась с ней за руку. Старуха вопросительно указала рукой наверх и, когда тетя кивнула, повела нас по узенькой лестнице, и ее опущенная голова оказалась на одном уровне с перилами. На площадке она остановилась, приглашая нас жестом войти в комнату покойного. Тетя вошла, но старуха, видя, что я остановился в нерешительности, снова несколько раз поманила меня рукой.

Я вошел на цыпочках. Комнату заливал закатный солнечный свет, проникавший сквозь кружевные края занавески, и свечи в нем были похожи на тонкие бледные язычки пламени. Он лежал в гробу. Нэнни подала пример, и мы все трое опустились на колени в ногах покойника. Я делал вид, что молюсь, но не мог сосредоточиться: бормотанье старухи отвлекало меня. Я заметил, что юбка у нее на спине застегнута криво, а подошвы ее суконных башмаков совсем стоптаны на один бок. Мне вдруг почудилось, что

старый священник улыбается, лежа в гробу.

Но нет. Когда мы поднялись и подошли к изголовью кровати, я увидел, что он не улыбается. Важный и торжественный, лежал он, одетый как для богослужения, и в вялых больших пальцах косо стояла чаша. Его лицо было очень грозно: серое, громадное, с зияющими черными ноздрями, обросшее скудной седой щетиной. Тяжелый запах стоял в комнате — цветы.

Мы перекрестились и вышли. В маленькой комнате внизу Элайза торжественно сидела в его кресле. Я пробрался к моему обычному месту в углу, а Нэнни подошла к буфету и достала графин с вином и несколько рюмок. Она поставила все это на стол и предложила нам выпить по рюмке вина, затем по знаку сестры она налила вино в рюмки и передала их нам. Она предложила мне еще сливочных сухарей, но я отказался, потому что думал, что буду слишком громко хрустеть. Она как будто огорчилась моим отказом, молча прошла к дивану и села позади кресла сестры. Никто не произнес ни слова: мы все смотрели в пустой камин.

Элайза вздохнула, и тогда тетя сказала:

— Он теперь в лучшем мире! — Элайза еще раз вздохнула и наклонила голову, как бы со-

глашаясь с ней. Тетя повертела рюмку с вином, прежде чем отпить глоток. — А как он… мирно? — спросила она.

— Очень мирно, — ответила Элайза. — И сказать было нельзя, когда он испустил дух. Хорошая была смерть, хвала господу.

— Ну, а?..

— Отец О'Рурк был у него во вторник, соборовал и причастил его.

— Так, значит, он знал?..

— Да, он умер в мире.

— И вид у него примиренный, — сказала тетя.

— Вот и женщина, которая приходила обмыть его, тоже так сказала. Он, сказала она, как будто уснул, и лицо у него такое покойное, мирное. Никто бы ведь и не подумал, что он в гробу будет так хорош.

— И правда, — промолвила тетя.

Она отпила еще глоток из своей рюмки и сказала:

— Ну, мисс Флинн, для вас должно быть большое утешение в том, что вы делали для него все что могли. Вы обе очень заботились о нем.

Элайза расправила платье на коленях.

— Бедный наш Джеймс, — сказала она, — бог видит, мы делали для него все что могли. Как

ни трудно нам было, мы ни в чем не давали ему терпеть нужду.

Нэнни прислонилась головой к диванной подушке, казалось, она вот-вот заснет.

— Да и Нэнни, бедняжка, — сказала Элайза, взглянув на нее, — измаялась вконец. Все ведь пришлось делать самим — и женщину найти, чтобы обмыть, убрать его и положить на стол, и заказать мессу в церкви. Если бы не отец О'Рурк, уж и не знаю, как бы справились. Он вот и цветы прислал, и два подсвечника из церкви, и объявление в «Фримен джорнел» дал, и взял на себя все устроить на кладбище и насчет страховки бедного Джеймса.

— Вот и молодец, — сказала тетя. Элайза закрыла глаза и медленно покачала головой.

— Да уж, старый друг — это верный друг, — сказала она, — а ведь если правду сказать, какие друзья у покойника?

— Что правда, то правда, — сказала тетя. — Вот он теперь на том свете и помянет вас за все, что вы для него сделали.

— Ах, бедный Джеймс, — повторила Элайза. — Не так уж много было с ним и хлопот. И слышно-то его в доме было не больше, чем сейчас. Ведь хоть и знаешь, что ему…

— Да, теперь, когда все кончилось, вам будет недоставать его, — сказала тетя.

— Я знаю, — сказала Элайза. — Никогда уж не придется мне больше приносить ему крепкий бульон и вам, мэм, присылать ему табачок. Бедный Джеймс!

Она замолчала, словно погрузившись в прошедшее, потом серьезно сказала:

— Последнее время я видела, что с ним что-то неладное творится. Как ни принесу ему суп, все вижу — молитвенник на полу, а сам он лежит в кресле откинувшись, и рот у него открыт.

Она потерла нос, нахмурилась, потом продолжала:

— Он все говорил, вот бы, пока лето не кончилось, в Айриш-таун[12] съездить на денек, на наш старый дом посмотреть, где мы родились, и меня хотел взять с собой, и Нэнни. Вот только бы удалось достать недорого у Джонни Раша, здесь неподалеку, одну из этих новомодных колясок без шума — отец О'Рурк ему говорил, есть нынче с особенными какими-то ревматическими колесами, — и поехать всем втроем в воскресенье под вечер… Крепко это ему в голову засело… Бедный

---

[12] notes: 12
Бедный район в пригороде Дублина, на берегу Дублинского залива.

Джеймс!

— Упокой, господи, его душу, — сказала тетя.

Элайза достала носовой платок и вытерла глаза. Потом она положила его обратно в карман и некоторое время молча смотрела в пустой камин.

— А уж какой он был щепетильный, — сказала она. — Не под силу ему был церковный сан, да и в жизни-то ему, тоже сказать, выпал тяжелый крест.

— Да, — сказала тетя, — отчаявшийся был человек. Это было видно по нему.

Молчание наступило в маленькой комнате, и, воспользовавшись им, я подошел к столу, отпил глоток из своей рюмки и тихо вернулся на свое место в углу. Элайза, казалось, погрузилась в глубокое забытье. Мы почтительно ждали, когда она нарушит молчание; после долгой паузы она заговорила медленно:

— Это все чаша, что он тогда разбил… С этого все и началось, конечно, говорили, что это не беда, что в ней ничего не было. Но все равно… говорили, будто бы виноват служка. Но бедный Джеймс стал такой нервный, упокой, господи, его душу!

— Так разве от этого? — спросила тетя. — Я слышала, будто…

Элайза кивнула.

— От этого у него и разум помутился, — сказала она. — После этого он и задумываться начал, и не разговаривал ни с кем, все один бродил. Как-то раз вечером пришли за ним на требу звать, но нигде не могли его найти. Уж и где они его только не искали, и туда и сюда ходили — пропал, и следа нет. Вот тогда причетник и посоветовал посмотреть в церкви. Взяли они ключи, отперли церковь, и причетник, и отец О'Рурк, и еще другой священник с ними был, все с огнем пошли, поискать — не там ли. Ну и что же вы думаете, там и был — сидит один-одинешенек в темноте у себя в исповедальне, уставился в одну точку и будто смеется сам с собой.

Она внезапно остановилась, как бы прислушиваясь, Я тоже прислушался: ни звука в доме, я знал, что старый священник тихо лежит себе в гробу такой, каким мы его видели. — торжественный и грозный в смерти, с пустой чашей на груди.

Элайза повторила:

— Уставился в одну точку и будто смеется сам с собой… Ну тогда, конечно, как они его увидели, так уж и догадались, что неладно что-то…

Встреча
Перевод И. К. Романовича

С Диким Западом нас познакомил Джо Диллон. У него была маленькая библиотечка, составленная из старых номеров «Флага Британии», «Отваги» и «Дешевой библиотеки приключений». Каждый вечер после школы мы встречались у него на дворе и играли в индейцев. Он со своим младшим братом Лео, толстым ленивцем, защищал чердак над конюшней, который мы штурмовали; или у нас разыгрывался кровопролитный бой на лужайке. Но как мы ни старались, нам никогда не удавалось одержать верх в осаде или в бою, и все наши схватки кончались победной пляской Джо Диллона. Его родители каждое утро ходили к ранней мессе в церковь на Гардинер-Стрит, и в передней их дома господствовал мирный запах миссис Диллон. Но мы были моложе и боязливей его, и нам казалось, что он предается игре слишком неистово. Он и в самом деле походил на индейца, когда носился по саду, нахлобучив на голову старую грелку для чайника, бил кулаком по жестянке и вопил:

— Йа, яка, яка, яка!

Никто не хотел верить, когда узнали, что он решил стать священником. Между тем это была правда.

Дух непослушания распространялся среди нас, и под его влиянием сглаживались различия в культуре и в наклонностях. Мы составляли шайки — одни с жаром, другие в шутку, третьи почти со страхом; к числу последних, колеблющихся индейцев, которые боялись показаться зубрилами и неженками, принадлежал и я. Приключения, о которых рассказывалось в книгах о Диком Западе, ничего не говорили моему сердцу, но они по крайней мере позволяли мне мечтой унестись подальше от этой жизни. Мне больше нравились американские повести о сыщиках, где время от времени появлялись своевольные и бесстрашные красавицы. Хотя в этих повестях не было ничего дурного и хотя они не лишены были претензий на литературность, школьники передавали их друг другу тайком. Однажды, когда отец Батлер спрашивал урок, четыре страницы из истории Рима, растяпа Лео Диллон попался с номером «Библиотеки приключений».

— Какая страница, эта? Эта страница? Ну-ка, Диллон, встаньте! «Едва забрезжил рассвет того

дня…» Ну, продолжайте! Какого дня? «Едва забрезжил рассвет того дня, когда…» Вы это выучили? Что у вас там в кармане?

У всех замерло сердце, когда Лео Диллон протянул книжку, и все сделали невинное лицо. Отец Батлер, хмурясь, перелистал ее.

— Что это за ерунда? — сказал он. — *«Предводитель апачей!»* Так вот что вы читаете, вместо того чтобы учить историю Рима? Чтобы подобная гадость больше не попадалась мне на глаза в нашем колледже! Ее написал какой-нибудь гадкий человек, который пишет такие вещи, чтобы заработать себе на вино. Удивляюсь, что такие интеллигентные мальчики читают подобный хлам. Будь вы мальчиками… из Национальной школы[13]. Знаете, Диллон, я вам серьезно советую приналечь на занятия, иначе…

Этот выговор заметно отрезвил меня, охладил мой энтузиазм к Дикому Западу, а смущенное пухлое лицо Лео Диллона пробудило во мне совесть. Но вдали от школы я снова уносился далеко в мечтах, которые, казалось, могли дать мне только эти повести вольной жизни. Вечерняя игра в войну стала для меня такой же утоми-

---

[13] notes: 13
Имеются в виду приходские школы для бедных.

тельной, как утренние часы в школе: в глубине души я мечтал о настоящих приключениях. Но настоящих приключений, думал я, не бывает у людей, которые сидят дома: их нужно искать вдали от родины.

Уже приближались летние каникулы, когда я решил хотя бы на один день нарушить однообразие школьной жизни. Я сговорился с Лео Диллоном и с одним мальчиком по фамилии Мэхони, что мы прогуляем школу. Каждый из нас скопил по шесть пенсов. Мы должны были встретиться в десять часов утра на мосту через Королевский канал. Взрослая сестра Мэхони напишет ему записку в школу, а Джо Диллон скажет, что его брат болен. Мы пойдем до пристани, а потом переедем на пароме и дойдем до Пиджен-Хауз[14]. Лео Диллон боялся, что мы встретим отца Батлера или еще кого-нибудь из колледжа; но Мэхони очень резонно спросил, с какой стати отец Батлер пойдет к Пиджен-Хауз. Мы успокоились, и я довел до конца первую часть нашего плана, собрав с остальных по шесть пенсов и показав им свою собственную монетку. Когда мы окончательно договорились накануне

[14] notes: 14

Пиджен-Хауз — в прошлом форт на берегу Дублинского залива; во времена Джойса здесь находилась электростанция.

вечером, мы все были слегка возбуждены. Мы смеясь пожали друг другу руки, и Мэхони сказал:

— До завтра, друзья.

В ту ночь я спал плохо. Утром я первый пришел к мосту, потому что жил ближе всех. Я спрятал книги в высокой траве около мусорной ямы в конце сада, куда никто никогда не заходил, и побежал по берегу канала. Было мягкое солнечное утро первой недели июня. Я сидел на перилах моста, любуясь своими поношенными парусиновыми туфлями — я их с вечера старательно начистил мелом, — и наблюдал, как послушные лошади тащили полную конку деловых людей вверх по холму. Все ветки высоких деревьев по берегам канала оделись веселыми светло-зелеными листочками, и солнечный свет, косо пробиваясь сквозь них, падал на воду. Гранит моста постепенно нагревался, и я похлопывал по нему руками в такт мотиву, звучавшему у меня в голове. Мне было очень хорошо.

Я уже сидел там пять или десять минут, когда увидел серую курточку Мэхони. Он, улыбаясь, поднялся на холм и вскарабкался ко мне на мост. Пока мы ждали, он вынул рогатку, торчавшую у него из кармана, и показал усовершенствования, которые он в ней сделал. Я спросил, зачем он

ее взял, а он ответил, что взял ее затем, чтобы популять в птиц. Мэхони знал много жаргонных словечек, а отца Батлера называл «старым козлом». Мы подождали еще с четверть часа, но Лео Диллон так и не появился. Наконец Мэхони соскочил с перил и сказал:

— Идем. Так я и знал, что Толстяк сдрейфит.

— А его шесть пенсов… — сказал я.

— А это с него штраф, — сказал Мэхони. — Нам-то что — только лучше: шиллинг да шесть пенсов вместо шиллинга.

Мы прошли по Норт Стрэнд-Роуд до химического завода, а оттуда свернули направо на улицу, ведущую к пристани. Как только мы вышли из людных мест, Мэхони принялся играть в индейцев. Он погнался за какими-то оборванными девчонками, размахивая своей незаряженной рогаткой, а когда двое оборванных мальчишек начали из рыцарских побуждений швырять в нас камнями, он предложил обстрелять их. Я возразил, что мальчики слишком маленькие, и мы пошли дальше, а оборванцы кричали нам вдогонку: «Нехристи! Нехристи!» — думая, что мы протестанты, потому что Мэхони, у которого было смуглое лицо, носил на шапке серебряный значок какого-то крикетного клуба. Мы дошли

до Утюга и решили организовать осаду, но у нас ничего не получилось, потому что для этого нужно быть по крайней мере втроем. В отместку Лео Диллону мы говорили о том, как он сдрейфил, и старались угадать, какую отметку он получит на последнем уроке у мистера Райена.

Потом мы вышли к реке. Мы долго бродили по шумным улицам, окаймленным высокими каменными стенами, и часто останавливались, наблюдая за работой подъемных кранов и лебедок, и тогда на нас кричали ломовики, проезжавшие с тяжело нагруженными подводами. Был полдень, когда мы добрались до набережных: рабочие завтракали, и мы тоже купили себе два больших пирожка со смородиновым вареньем и сели поесть на железные трубы возле реки. Мы любовались зрелищем жизни Дублинского торгового порта — речные суда, о приближении которых издалека сигнализировали завитки похожего на вату дыма, коричневая флотилия рыбачьих судов за Рингсендом, большой белый парусник, разгружавшийся на противоположной стороне реки. Мэхони сказал, что было бы здорово удрать в море на каком-нибудь из этих больших судов, и даже я, глядя на высокие мачты, видел или воображал, что вижу, как на моих гла-

зах облекаются в плоть те скудные познания по географии, которые я получил в школе. Школа и дом, казалось, отошли от нас бесконечно далеко, и мы чувствовали себя совсем свободными.

Заплатив за переправу, мы переплыли Лиффи на пароме в обществе двух портовых рабочих и маленького еврея с мешком. Мы были серьезны до торжественности, но один раз, когда наши взгляды встретились, мы расхохотались. Сойдя на берег, мы стали наблюдать за разгрузкой стройного трехмачтовика, который заметили еще с того берега. Какой-то человек, стоявший тут же, сказал, что это норвежское судно. Я прошел к корме и попытался разобрать надпись, но не смог, вернулся назад и стал разглядывать иностранных матросов: правда ли зеленые у них глаза, мне-то ведь говорили… Глаза у матросов были голубые, серые и даже черные. Единственный матрос, чьи глаза можно было бы назвать зелеными, был рослый мужчина, забавлявший толпу на пристани тем, что каждый раз, как падали доски, он весело кричал:

— Порядок! Порядок!

Скоро нам надоело смотреть, и мы тихонько побрели в Ринг-сенд. Становилось душно, в окнах бакалейных лавок выгорали на солнце заплес-

невелые пряники. Мы купили себе пряников и шоколада и быстро их съели, бродя по грязным улицам, где жили семьи рыбаков. Молочной мы не нашли, поэтому купили в палатке по бутылке малинового ситро. Освежившись, Мэхони погнался по переулку за какой-то кошкой, но она унеслась от нас далеко в поле. Мы оба порядком устали и, когда вышли в поле, сейчас же направились к пологому откосу, за гребнем которого виднелась река Доддер.

Было слишком поздно, и мы слишком устали, чтобы думать о посещении Пиджен-Хауз. Нам нужно было вернуться домой к четырем, а то обнаружат наш побег. Мэхони с грустью смотрел на свою рогатку и повеселел только тогда, когда я предложил вернуться в город по железной дороге. Солнце спряталось за тучи, оставив нас с нашими унылыми мыслями и остатками завтрака.

В поле, кроме нас, никого не было. После того, как несколько минут мы молча лежали на откосе, я увидел человека, приближавшегося к нам с дальнего края поля. Я лениво наблюдал за ним, пожевывая стебель травы, по которой гадают девочки. Он медленно шел вдоль откоса. Одна рука лежала у него на бедре, а в другой руке у него была тросточка, и он слегка постукивал ею по

земле. Он был в поношенном зеленовато-черном костюме, а на голове у него была шляпа с высокой тульей, из тех, которые мы называли ночными горшками. Он показался мне старым, потому что усы у него были с проседью. Он прошел совсем близко, быстро взглянул на нас и пошел дальше. Мы следили за ним глазами и видели, что, когда он отошел шагов на пятьдесят, он повернулся и пошел назад. Он шел по направлению к нам очень медленно, все время постукивая тростью по земле, так медленно, что я подумал, он ищет что-то в траве.

Дойдя до того места, где мы сидели, он поздоровался с нами. Мы ответили, и он опустился рядом с нами на откос, медленно и с большой осторожностью. Он начал говорить о погоде, сказал, что лето будет очень жаркое, и добавил, что климат изменился с тех пор, как он был мальчиком, а это было так давно. Он сказал, что счастливейшие годы в жизни человека — это, несомненно, школьные годы и что он отдал бы все на свете, лишь бы снова стать молодым. Когда он говорил это, нам было немного скучно, и мы молчали. Потом он начал говорить о школе и о книгах. Он спросил нас, читали ли мы стихи Томаса Мура и романы сэра Вальтера Скотта и лорда Булвера Литтона. Я

сделал вид, будто я читал все книги, которые он называл, так что под конец он сказал:

— Да, я вижу, что ты такой же книжный червь, как я. А вот он, — добавил он, показывая на Мэхони, который смотрел на нас широко открытыми глазами, — он не такой; этот силен по части игр.

Он сказал, что у него дома есть все сочинения сэра Вальтера Скотта и все сочинения лорда Литтона и что ему никогда не надоедает перечитывать их. «Разумеется, — сказал он, — у лорда Литтона есть книги, которые мальчикам нельзя читать». Мэхони спросил, почему мальчикам нельзя их читать; этот вопрос расстроил меня, потому что я боялся, как бы незнакомец не счел меня таким же глупым, как Мэхони. Однако незнакомец только улыбнулся. Я увидел, что у него желтые редкие зубы. Потом он спросил, у кого из нас больше подружек. Мэхони небрежно заметил, что у него три девочки. Незнакомец спросил, сколько подружек у меня. Я ответил: ни одной. Он не поверил мне и сказал, что он убежден, кто-то у меня есть. Я промолчал.

— Скажите, — дерзко сказал ему Мэхони, — а сколько у вас самого?

Незнакомец снова улыбнулся и сказал, что в нашем возрасте у него было множество подружек.

— У каждого мальчика, — сказал он, — бывает маленькая подружка.

Меня поразило подобное свободомыслие у человека в его возрасте. В глубине души я считал правильным то, что он говорит о мальчиках и подружках. Но мне было неприятно слышать эти слова из его уст, и я удивился, почему он раза два вздрогнул, словно чего-то испугавшись или внезапно почувствовав озноб. Он продолжал говорить, и я заметил, что у него хорошая речь. Он рассказывал о девочках, какие у них красивые мягкие волосы, и какие у них мягкие руки, и что не все девочки такие хорошие, какими они кажутся. Он сказал, что больше всего на свете он любит смотреть на красивую молодую девушку, на ее красивые белые руки и на ее шелковистые мягкие волосы. У меня было такое впечатление, что он повторяет фразы, которые он выучил наизусть, или что его ум, намагниченный его же собственными словами, медленно вращается по какой-то неподвижной орбите. Порой он говорил так, точно намекал на что-то всем известное, а порой понижал голос и говорил таинственно, точно рассказывал нам какой-то секрет и не хотел, чтобы это услышали другие. Он снова и снова повторял свои фразы, немного изменяя их

и окутывая своим монотонным голосом. Слушая его, я продолжал смотреть вдоль откоса.

Прошло довольно много времени, и его монолог наконец прервался. Он медленно встал, говоря, что оставит нас на минутку или, вернее, на несколько минут; и, не меняя направления взгляда, я увидел, как он медленно пошел от нас к ближнему краю поля. Он ушел, мы продолжали молчать. После двух-трех минут молчания Мэхони воскликнул:

— Ишь ты! Посмотри, что он делает!

Но поскольку я не ответил и не поднял глаз, Мэхони снова воскликнул:

— Ишь ты!.. Вот старый чудила!

— Если он спросит наши фамилии, — сказал я, — ты будешь Мэрфи, а я буду Смит.

Больше мы ничего друг другу не сказали. Я все еще раздумывал, уйти мне или остаться, когда незнакомец вернулся и снова сел подле нас. Едва он сел, как Мэхони, заметив сбежавшую от него кошку, вскочил на ноги и погнался за ней через поле. Мы с незнакомцем наблюдали за погоней. Кошка опять спаслась бегством, и Мэхони начал швырять камни через ограду, за которой она скрылась. Скоро это ему надоело, он стал бесцельно бродить взад и вперед по дальнему

краю поля.

После недолгого молчания незнакомец заговорил со мной. Он сказал, что мой друг очень грубый мальчик, и спросил, часто ли его порют в школе. Я хотел было с негодованием ответить, что мы не из Национальной школы, где мальчиков, как он выражается, порют, но промолчал. Он начал говорить о телесных наказаниях для мальчиков. Его ум, снова как бы намагниченный его словами, казалось, медленно вращается вокруг нового центра. Он сказал, что таких мальчиков нужно пороть, и пороть как следует. Когда мальчик грубый и непослушный, ему может принести пользу лишь только одно — хорошая, основательная порка. Бить по рукам или драть за уши — от этого пользы мало; что ему необходимо, так это хорошая, горячая порка. Меня удивило такое отношение, и я невольно поднял глаза на его лицо. Я встретил взгляд бутылочно-зеленых глаз, смотревших на меня из-под дергающегося лба. Я снова отвел глаза в сторону.

Незнакомец продолжал свой монолог. Казалось, он забыл свое недавнее свободомыслие. Он сказал, что, если бы он когда-нибудь узнал, что мальчик разговаривает с девочками или что у него есть подружка, он стал бы его пороть

и пороть, и это научило бы этого мальчика не разговаривать с девочками. А если у мальчика есть подружка и он это скрывает, тогда он задаст этому мальчику такую порку, какой не видел ни один мальчик. Славная была бы порка! Он описывал, как стал бы пороть такого мальчика, точно раскрывал передо мной какую-то запутанную тайну. Это, сказал он, было бы для него самым большим удовольствием на свете; и его монотонный голос, постепенно раскрывавший передо мной эту тайну, стал почти нежным, точно он упрашивал меня понять его.

Я ждал до тех пор, пока его монолог не прекратился. Тогда я порывисто встал на ноги. Чтобы не выдать своего волнения, я нарочно провозился несколько секунд с башмаками, завязывая шнурки, и только после этого, сказав, что мне нужно идти, пожелал ему всего хорошего. Я поднимался по откосу спокойно, но сердце у меня колотилось от страха, что он схватит меня за ноги. Поднявшись, я обернулся и, не глядя на него, громко закричал через поле:

— Мэрфи!

В моем голосе звучала напускная храбрость, и мне было стыдно своей мелкой хитрости. Мне пришлось крикнуть еще раз, и только тогда Мэ-

хони заметил меня и откликнулся на мой зов. Как билось у меня сердце, когда он бежал мне навстречу через поле! Он бежал так, словно спешил мне на помощь. И мне было стыдно, потому что в глубине души я всегда немного презирал его.

Аравия
Перевод Е. Д. Калашниковой

Норт Ричмонд-Стрит оканчивалась тупиком, и это была тихая улица, если не считать того часа, когда в школе Христианских братьев[15] кончались уроки. В конце тупика, поодаль от соседей, стоял на четырехугольной лужайке пустой двухэтажный дом. Другие дома на этой улице, гордые своими чинными обитателями, смотрели друг на друга невозмутимыми бурыми фасадами.

Прежний хозяин нашего дома, священник, умер в маленькой гостиной. Воздух во всех комнатах был затхлый оттого, что они слишком долго стояли запертыми, чулан возле кухни был завален старыми ненужными бумагами. Среди них я нашел несколько книг в бумажных обложках, с отсыревшими, покоробленными страницами: «Аббат» Вальтера Скотта, «Благо-

---

[15] notes: 15

Христианские братья — братство католиков-мирян, посвятивших себя воспитанию бедных, чаще всего незаконнорожденных детей. Школы Христианских братьев существовали на общественные пожертвования, преподаватели получали небольшую плату, образование носило преимущественно ремесленно-прикладной характер.

честивый причастник» и «Мемуары Видока»[16]. Последняя понравилась мне больше всех, потому что листы в ней были совсем желтые. В запущенном саду за домом росла одна яблоня и вокруг нее — несколько беспорядочно разбросанных кустов; под одним из них я нашел заржавленный велосипедный насос покойного хозяина. Он был известен благотворительностью и после смерти все свои деньги завещал на добрые дела, а всю домашнюю обстановку оставил сестре.

Зимой, когда дни были короче, сумерки спускались прежде, чем мы успевали пообедать. Когда мы выходили на улицу, дома уже были темные. Кусок неба над нами был все сгущавшегося фиолетового цвета, и фонари на улице поднимали к нему свое тусклое пламя. Холодный воздух пощипывал кожу, и мы играли до тех пор, пока все тело не начинало гореть. Наши крики гулко отдавались в тишине улицы. Игра приводила нас на грязные задворки, где мы попадали под обстрел обитавших в лачугах диких туземцев; к задним калиткам темных, сырых огородов, где

---

[16] notes: 16

«Благочестивый причастник» (опуб. в 1813) — сочинение францисканца Пацификуса Бейкера (1695–1774); «Мемуары Видока» (1829) — сочинение Франсуа-Жюля Видока (1775–1857), преступника, ставшего затем полицейским-авантюристом, который в целом ряде случаев сам инсценировал преступления, а затем с блеском их раскрывал.

вонь поднималась от мусорных ведер; к грязным, вонючим стойлам, где кучер чистил и скреб лошадей или мелодично позванивал украшенной пряжками сбруей. Когда мы возвращались на улицу, темноту уже пронизывал свет кухонных окон. Если из-за угла показывался мой дядя, мы прятались в тень и ждали, когда он благополучно скроется в доме. Или если сестра Мэнгана выходила на крыльцо звать брата к чаю, мы смотрели, притаившись в тени, как она оглядывается по сторонам. Мы хотели знать, останется она на крыльце или уйдет в дом, и, если она оставалась, мы выходили из своего угла и покорно шли к крыльцу Мэнгана. Она стояла там, ожидая нас, и ее фигура чернела в светлом прямоугольнике полуотворенной двери. Брат всегда поддразнивал ее, прежде чем послушаться, а я стоял у самых перил и смотрел на нее. Ее платье колебалось, когда она поворачивалась, и мягкий жгут косы подрагивал у нее за плечами.

Каждое утро я ложился на пол в гостиной и следил за ее дверью. Спущенная штора всего на один дюйм не доходила до подоконника, так что с улицы меня не было видно. Когда она показывалась на крыльце, у меня вздрагивало сердце. Я мчался в переднюю, хватал свои книги и шел

за ней следом. Я ни на минуту не терял из виду коричневую фигурку впереди, и уже у самого поворота, где наши дороги расходились, я ускорял шаг и обгонял ее. Так повторялось изо дня в день. Я ни разу не заговорил с ней, если не считать нескольких случайных слов, но ее имя было точно призыв, глупо будораживший мою кровь.

Ее образ не оставлял меня даже в таких местах, которые меньше всего располагали к романтике. В субботу вечером, когда тетя отправлялась за покупками в лавки, я всегда нес за ней сумку. Мы шли ярко освещенными улицами, в толкотне торговок и пьяниц, среди ругани крестьян, пронзительных возгласов мальчишек, охранявших бочки с требухой у лавок, гнусавых завываний уличных певцов, тянувших песню про О'Донована Россу[17] или балладу о горестях родной нашей страны. Все эти шумы сливались для меня в едином ощущении жизни; я воображал, что бережно несу свою чашу[18] сквозь скопище врагов. Вре-

---

[17] notes: 17

О'Донован Росса Джеримая (Росса — «Рыжий»; кличка, добавленная к фамилии; 1831–1915) — деятель ирландского национально-освободительного движения. Воспринимался народом как символ мужества и отваги.

[18] notes: 18

Имеется в виду потир, чаша для святых даров. Здесь чаша — символ духовных идеалов и надежд.

менами ее имя срывалось с моих губ в странных молитвах и гимнах, которых я сам не понимал. Часто мои глаза наполнялись слезами (я не знал почему), и мне иногда казалось, что из сердца у меня поднимается волна и заливает всю грудь. Я думал о том, что будет дальше. Не знал, придется ли мне когда-нибудь заговорить с ней и если придется, как я скажу ей о своем несмелом поклонении. Но мое тело было точно арфа, а ее слова — точно пальцы, пробегающие по струнам.

Как-то вечером я вошел в маленькую гостиную, ту, где умер священник. Вечер был темный и дождливый, и во всем доме не раздавалось ни звука. Через разбитое стекло мне было слышно, как дождь падает на землю, бесчисленными водяными иглами прыгая по мокрым грядкам. Где-то внизу светился фонарь или лампа в окне. Я был рад, что вижу так немного. Я был словно в тумане, и в ту минуту, когда, казалось, все чувства вот-вот покинут меня, я до боли стиснул руки, без конца повторяя: «Любимая! Любимая!»

Наконец она заговорила со мной. При первых словах, которые она произнесла, я смутился до того, что не знал, как ответить. Она спросила,

собираюсь ли я в «Аравию»[19]. Не помню, что я ей ответил — да или нет. Чудесный будет базар, сказала она; ей очень хочется побывать там.

— А почему бы вам не пойти? — спросил я.

Разговаривая, она все время вертела серебряный браслет на руке. Ей не придется пойти, сказала она, потому что на этой неделе у них в монастырской школе говеют. Ее брат и еще двое мальчиков затеяли в это время драку из-за шапок, и я один стоял у крыльца. Она держалась за перекладину перил, наклонив ко мне голову. Свет фонаря у нашей двери выхватывал из темноты белый изгиб ее шеи, освещал лежавшую на шее косу и, падая вниз, освещал ее руку на перилах. Он падал с одной стороны на ее платье и выхватывал белый краешек нижней юбки, едва заметный, когда она стояла неподвижно.

— Счастливый вы, — сказала она.

— Если я пойду, — сказал я, — я вам принесу что-нибудь.

Какие бесчисленные мечты кружились у меня в голове во сне и наяву после этого вечера! Мне стали невыносимы школьные занятия. Вечерами в моей комнате, а днем в классе ее образ заслонял

---

[19] notes: 19

«Аравия» — название благотворительного базара, ежегодно проводимого в Дублине с 14 по 19 мая в помощь городским больницам.

страницы, которые я пытался прочесть. Слово «Аравия» звучало мне среди тишины, в которой нежилась моя душа, и околдовывало меня восточными чарами. Я попросил разрешения в субботу вечером отправиться на благотворительный базар. Тетя очень удивилась и высказала надежду, что это не какая-нибудь франкмасонская[20] затея. В классе я отвечал плохо. Я видел, как на лице учителя дружелюбие сменилось строгостью; он спросил, уж не вздумал ли я лениться, я не мог сосредоточиться. У меня не хватало терпения на серьезные житейские дела, которые теперь, когда они стояли между мной и моими желаниями, казались мне детской игрой, нудной, однообразной детской игрой.

В субботу утром я напомнил дяде, что вечером хотел бы пойти на благотворительный базар. Он возился у вешалки, разыскивая щетку для шляп, и коротко ответил мне:

— Да, мальчик, я знаю.

Так как он был в передней, я не мог войти в гостиную и лечь перед окном. Я вышел из дому в дурном настроении и медленно побрел в школу. День был безнадежно пасмурный, и сердцем я

[20] notes: 20

Масоны воспринимались католиками в Ирландии такими же врагами «истинной веры», как и протестанты.

уже предчувствовал беду.

Когда я вернулся домой к обеду, дяди еще не было. Но было еще рано. Некоторое время я сидел и смотрел на часы, а когда их тиканье стало меня раздражать, я вышел из комнаты. Я поднялся по лестнице в верхний этаж дома. В высоких, холодных, пустых, мрачных комнатах мне стало легче, и я, напевая, ходил из одной в другую. В окно я увидел своих товарищей, которые играли на улице. Их крики доносились до меня приглушенными и неясными, и, прижавшись лбом к холодному стеклу, я смотрел на темный дом напротив, в котором жила она. Я простоял так с час, не видя ничего, кроме созданной моим воображением фигуры в коричневом платье, слегка тронутой светом изогнутой шеи, руки на перилах и белого краешка юбки.

Когда я снова спустился вниз, у огня сидела миссис Мерсер. Это была седая сварливая старуха, вдова ростовщика, собиравшая для какой-то богоугодной цели старые почтовые марки. Мне пришлось терпеливо слушать болтовню за чайным столом. Обед запаздывал уже больше чем на час, а дяди все не было. Миссис Мерсер встала: ужасно жалко, но она больше ждать не может, уже девятый час, а она не хочет поздно выходить

на улицу, ночной воздух ей вреден. Когда она ушла, я стал ходить взад и вперед по комнате, сжимая кулаки. Тетя сказала:

— Боюсь, что тебе придется отложить свой базар до воскресенья.

В девять часов я услышал щелканье ключа в замке двери. Я услышал, как дядя разговаривает сам с собой и как вешалка закачалась под тяжестью его пальто. Я хорошо знал, что все это значит. Когда он наполовину управился с обедом, я попросил у него денег на базар. Он все забыл.

— Добрые люди уже второй сон видят, — сказал он.

Я не улыбнулся. Тетя энергично вступилась:

— Дай ты ему деньги, и пусть идет. Довольно его томить.

Дядя сказал, что он огорчен, как это он забыл. Он сказал, что придерживается старой пословицы: *без утех и развлеченья нет успеха и в ученье.* Он спросил меня, куда я собираюсь, и, когда я ему это во второй раз объяснил, он спросил, знаю ли я «Прощание араба с конем»[21]. Когда я выходил из кухни, он декламировал тете первые строчки этого стихотворения.

---

[21] notes: 21

Стихотворение английской поэтессы и романистки, дочери Р. Б. Шеридана — Кэролайн Нортон (1808–1877).

Крепко зажав в руке флорин, я несся по Букингем-Стрит к вокзалу. Улицы, запруженные покупателями, ярко освещенные газовыми фонарями, напоминали мне о том, куда я направляюсь. Я сел в пустой загон третьего класса. После нестерпимого промедления поезд медленно отошел от перрона. Он полз среди полуразрушенных домов, над мерцающей рекой. На станции Уэстленд-Роу целая толпа осадила вагоны, но проводники никого не пускали, крича, что поезд специальный и идет только до базара. Я оставался один в пустом вагоне. Через несколько минут поезд подошел к сколоченной на скорую руку платформе. Я вышел; светящийся циферблат показывал, что уже без десяти десять. Прямо передо мной было большое строение, на фасаде которого светилось магическое имя.

Я не мог найти шести пенсов на вход и, боясь, как бы базар не закрыли, проскочил через турникет, протянув шиллинг человеку с усталым лицом. Я очутился в большом зале, который на половине его высоты опоясывала галерея. Почти все киоски были закрыты, и больше половины зала оставалось в темноте. Кругом стояла тишина, какая бывает в церкви после службы. Я робко прошел на середину базара. Несколько человек

толпилось у открытых еще киосков. Перед занавесом, над которым из разноцветных лампочек составлены были слова «Cafe Chantant», два человека считали на подносе деньги. Я слушал, как падают монеты.

С трудом вспомнив, зачем я сюда попал, я подошел к одному из киосков и стал рассматривать фарфоровые вазы и чайные сервизы в цветочек. У двери киоска барышня разговаривала и смеялась с двумя молодыми людьми. Я заметил, что они говорят с лондонским акцентом, и невольно прислушался к их разговору.

— Ах, я не говорила ничего подобного!

— Ах, вы сказали!

— Ах, я не говорила!

— Правда, она сказала?

— Да. Я сам слышал.

— Ах вы… лгунишка!

Заметив меня, барышня подошла и спросила, не хочу ли я что-нибудь купить. Ее тон был неприветлив, казалось, она заговорила со мной только по обязанности. Я смущенно посмотрел на огромные кувшины, которые, точно два восточных стража, стояли по сторонам темнеющего входа в киоск, и пробормотал:

— Нет, благодарю вас.

Девушка переставила какую-то вазу и вернулась к молодым людям. Они снова заговорили о том же. Раз или два она оглянулась на меня.

Я постоял у киоска, чтобы мой интерес к ее товару показался правдоподобнее, но знал, что все это ни к чему. Потом я медленно отвернулся и побрел на середину базара. Я уронил свои два пенни на дно кармана, где лежал шестипенсовик. Я услышал, как чей-то голос крикнул с галереи, что сейчас потушат свет. В верхней части здания было теперь совершенно темно.

Глядя вверх, в темноту, я увидел себя, существо, влекомое тщеславием и посрамленное, и глаза мне обожгло обидой и гневом.

Эвелин
Перевод Н. А. Волжиной

Она сидела у окна, глядя, как вечер завоевывает улицу. Головой она прислонилась к занавеске, и в ноздрях у нее стоял запах пропыленного кретона. Она чувствовала усталость.

Прохожих было мало. Прошел к себе жилец из последнего дома; она слышала, как его башмаки простучали по цементному тротуару, потом захрустели по шлаковой дорожке вдоль красных зданий. Когда-то там был пустырь, на котором они играли по вечерам с другими детьми. Потом какой-то человек из Белфаста купил этот пустырь и настроил там домов — не таких, как их маленькие темные домишки, а кирпичных, красных, с блестящими крышами. Все здешние дети играли раньше на пустыре — Дивайны, Уотерсы, Данны, маленький калека Кьоу, она, ее братья и сестры. Правда, Эрнст не играл: он был уже большой. Отец постоянно гонялся за ними по пустырю со своей терновой палкой; но маленький Кьоу всегда глядел в оба и успевал крикнуть, завидев отца. Все-таки тогда жилось хорошо. Отец еще

кое-как держался; кроме того, мать была жива. Это было очень давно; теперь и она, и братья, и сестры выросли; мать умерла. Тиззи Данн тоже умерла, а Уотерсы вернулись в Англию. Все меняется. Вот теперь и она скоро уедет, как другие, покинет дом.

Дом! Она обвела глазами комнату, разглядывая все те знакомые вещи, которые сама обметала каждую неделю столько лет подряд, всякий раз удивляясь, откуда набирается такая пыль. Может быть, больше никогда не придется увидеть эти знакомые вещи, с которыми она никогда не думала расстаться. А ведь за все эти годы ей так и не удалось узнать фамилию священника, пожелтевшая фотография которого висела над разбитой фисгармонией рядом с цветной литографией святой Маргариты-Марии Алакок[22]. Он был школьным товарищем отца. Показывая фотографию гостям, отец говорил небрежным тоном:

— Он сейчас в Мельбурне.

Она согласилась уехать, покинуть дом. Разумно ли это? Она пробовала обдумать свое решение со всех сторон. Дома по крайней мере у нее есть

---

[22] notes: 22

Маргарита-Мария Алакок (1647–1690) — монахиня, учредительница одного из наиболее популярных культов в католической церкви — культа Святого сердца.

крыша над головой и кусок хлеба; есть те, с кем она прожила всю жизнь. Конечно, работать приходилось много, и дома, и на службе. Что будут говорить в магазине, когда узнают, что она убежала с молодым человеком? Может быть, назовут ее дурочкой; а на ее место возьмут кого-нибудь по объявлению. Мисс Гэйвен обрадуется. Она вечно к ней придиралась, особенно когда поблизости кто-нибудь был.

— Мисс Хилл, разве вы не видите, что эти дамы ждут?

— Повеселее, мисс Хилл, сделайте одолжение.

Не очень-то она будет горевать о магазине.

Но в новом доме, в далекой незнакомой стране все пойдет по-другому. Тогда она уже будет замужем — она, Эвелин. Ее будут уважать тогда. С ней не будут обращаться так, как обращались с матерью. Даже сейчас, несмотря на свои девятнадцать с лишним лет, она часто побаивается грубости отца. Она уверена, что от этого у нее и сердцебиения начались. Пока они подрастали, отец никогда не бил ее так, как он бил Хэрри и Эрнста, потому что она была девочка; но с некоторых пор он начал грозить, говорил, что не бьет ее только ради покойной матери. А защитить ее теперь некому. Эрнст умер, а Хэрри работает по

украшению церквей и постоянно в разъездах. Кроме того, непрестанная грызня из-за денег по субботам становилась просто невыносимой. Она всегда отдавала весь свой заработок — семь шиллингов, и Хэрри всегда присылал сколько мог, но получить деньги с отца стоило больших трудов. Он говорил, что она транжирка, что она безмозглая, что он не намерен отдавать трудовые деньги на мотовство, и много чего другого говорил, потому что по субботам с ним вовсе сладу не было. В конце концов он все-таки давал деньги и спрашивал, собирается ли она покупать провизию к воскресному обеду. Тогда ей приходилось сломя голову бегать по магазинам, проталкиваться сквозь толпу, крепко сжав в руке черный кожаный кошелек, и возвращаться домой совсем поздно, нагруженной покупками. Тяжело это было — вести хозяйство, следить, чтобы двое младших ребят, оставленных на ее попечение, вовремя ушли в школу, вовремя поели. Тяжелая работа — тяжелая жизнь, но теперь, когда она решилась уехать, эта жизнь казалась ей не такой уж плохой.

Она решилась отправиться вместе с Фрэнком на поиски другой жизни. Фрэнк был очень добрый, мужественный, порядочный. Она непременно

уедет с ним вечерним пароходом, станет его женой, будет жить с ним в Буэнос-Айресе, где у него дом, дожидающийся ее приезда. Как хорошо она помнит свою первую встречу с ним; он жил на главной улице в доме, куда она часто ходила. Казалось, что это было всего несколько недель назад. Он стоял у ворот, кепка съехала у него на затылок, клок волос спускался на бронзовое лицо. Потом они познакомились. Каждый вечер он встречал ее у магазина и провожал домой. Повел как-то на «Цыганочку»[23], и она чувствовала такую гордость, сидя рядом с ним на непривычно хороших для нее местах. Он очень любил музыку и сам немножко пел. Все знали, что он ухаживает за ней, и, когда Фрэнк пел о девушке, любившей моряка[24], она чувствовала приятное смущение. Он прозвал ее в шутку Маковкой. Сначала ей просто льстило, что у нее появился поклонник, потом он стал ей нравиться. Он столько рассказывал о далеких странах. Он начал с юнги, служил за фунт

[23] notes: 23

Наиболее известная опера ирландского композитора и оперного певца Майкла Уильяма Балфа (1808–1870) на сюжет одноименной новеллы М. Сервантеса.

[24] notes: 24

«Подружка моряка», песня английского композитора и драматурга Чарльза Дибдина (1745–1814).

в месяц на пароходе линии Ален[25], ходившем в Канаду. Перечислял ей названия разных пароходов, на которых служил, названия разных линий. Он плавал когда-то в Магеллановом проливе и рассказывал ей о страшных патагонцах. Теперь, по его словам, он обосновался в Буэнос-Айресе и приехал на родину только в отпуск. Отец, конечно, до всего докопался и запретил ей даже думать о нем.

— Знаю я эту матросню, — сказал он.

Как-то раз отец повздорил с Фрэнком, и после этого ей пришлось встречаться со своим возлюбленным украдкой.

Вечер на улице сгущался. Белые пятна двух писем, лежавших у нее на коленях, расплылись. Одно было к Хэрри, другое — к отцу. Ее любимцем был Эрнст, но Хэрри она тоже любила. Отец заметно постарел за последнее время; ему будет недоставать ее. Иногда он может быть очень добрым. Не так давно она, больная, пролежала день в постели, и он читал ей рассказ о привидениях и поджаривал гренки в очаге. А еще как-то, когда мать была жива, они ездили на пикник в

---

[25] notes: 25
Морская трасса, соединявшая Англию с Канадой и США.

Хаут-Хилл[26]. Она помнила, как отец напялил на себя шляпу матери, чтоб посмешить детей.

Время шло, а она все сидела у окна, прислонившись головой к занавеске, вдыхая запах пропыленного кретона. С улицы издалека доносились звуки шарманки. Мелодия была знакомая. Как странно, что шарманка заиграла ее именно в этот вечер, чтобы напомнить ей про обещание, данное матери, — обещание как можно дольше не бросать дом. Она вспомнила последнюю ночь перед смертью матери: она снова была в тесной и темной комнате по другую сторону передней, а на улице звучала печальная итальянская песенка. Шарманщику велели тогда уйти и дали ему шесть пенсов. Она вспомнила, как отец с самодовольным видом вошел в комнату больной, говоря:

— Проклятые итальянцы! И сюда притащились.

И жизнь матери, возникшая перед ней, пронзила печалью все ее существо — жизнь, полная незаметных жертв и закончившаяся безумием. Она задрожала, снова услышав голос матери, твердивший с тупым упорством: «Конец удовольствию — боль! Конец удовольствию — боль!»

---

[26] notes: 26
Небольшая гора на берегу Дублинского залива.

Она вскочила, охваченная ужасом. Бежать! Надо бежать! Фрэнк спасет ее. Он даст ей жизнь, может быть, и любовь. Она хочет жить. Почему она должна быть несчастной? Она имеет право на счастье. Фрэнк обнимет ее, прижмет к груди. Он спасет ее.

Она стояла в суетливой толпе на пристани в Норт-Уолл. Он держал ее за руку, она слышала, как он говорит, без конца рассказывает что-то о путешествии. На пристани толпились солдаты с вещевыми мешками. В широкую дверь павильона она увидела стоявшую у самой набережной черную громаду парохода с освещенными иллюминаторами. Она молчала. Она чувствовала, как побледнели и похолодели у нее щеки, и, теряясь в своем отчаянии, молилась, чтобы бог вразумил ее, указал ей, в чем ее долг. Пароход дал в туман протяжный, заунывный гудок. Если она поедет, завтра они с Фрэнком уже будут в открытом море на пути к Буэнос-Айресу. Билеты уже куплены. Разве можно отступать после всего, что он для нее сделал? Отчаяние вызвало у нее приступ тошноты, и она не переставая шевелила губами в молчаливой горячей молитве.

Звонок резанул ее по сердцу. Она почувствовала, как Фрэнк сжал ей руку.

— Идем!

Волны всех морей бушевали вокруг ее сердца. Он тянет ее в эту пучину; он утопит ее. Она вцепилась обеими руками в железные перила.

— Идем!

Нет! Нет! Нет! Это немыслимо. Ее руки судорожно ухватились за перила. И в пучину, поглощавшую ее, она кинула вопль отчаяния.

— Эвелин! Эви!

Он бросился за барьер и звал ее за собой. Кто-то крикнул на него, но он все еще звал. Она повернула к нему бледное лицо, безвольно, как беспомощное животное. Ее глаза смотрели на него не любя, не прощаясь, не узнавая.

После гонок
Перевод В. М. Топер

Машины неслись по направлению к Дублину, ровно катясь, словно шарики, по Наас-Роуд. На гребне Инчикорского холма, по обе стороны дороги, группами собрались зрители полюбоваться возвращающимися машинами, и по этому каналу нищеты и застоя континент мчал свое богатство и технику. То и дело раздавались приветственные крики угнетенных, но признательных ирландцев. Их симпатии, впрочем, принадлежали синим машинам — машинам их друзей, французов.

Французы к тому же были фактическими победителями. Их колонна дружно пришла к финишу; они заняли второе и третье места, а водитель победившей немецкой машины, по слухам, был бельгиец. Поэтому каждую синюю машину, бравшую гребень холма, встречали удвоенной дозой криков, и на каждый приветственный крик сидевшие в машине отвечали улыбками и кивками. В одной из элегантных синих машин сидела компания молодых людей, чье припод-

нятое настроение явно объяснялось не только торжеством галльской культуры; можно сказать, молодые люди были почти в восторге. Их было четверо: Шарль Сегуэн, владелец машины; Андре Ривьер, молодой электротехник, родом из Канады; огромный венгр, по фамилии Виллона, и лощеный молодой человек, по фамилии Дойл. Сегуэн был в хорошем настроении потому, что неожиданно получил авансом несколько заказов (он собирался открыть в Париже фирму по продаже машин), а Ривьер был в хорошем настроении потому, что надеялся на место управляющего в фирме; а сверх того, и тот и другой (они приходились друг другу кузенами) были в хорошем настроении из-за победы французских машин. Виллона был в хорошем настроении потому, что очень недурно позавтракал; к тому же он по натуре был оптимист. Что касается четвертого, то он был слишком возбужден, чтобы веселиться от души.

Это был молодой человек лет двадцати шести, с мягкими каштановыми усиками и несколько наивными серыми глазами. Его отец, начавший жизнь ярым националистом[27], вскоре пере-

[27] notes: 27

Член партии гомрулеров, требовавших самоопределения Ирландии в рамках Британской империи.

менил свои убеждения. Он нажил состояние на мясной торговле в Кингстауне и приумножил свой капитал, открыв несколько лавок в Дублине и его пригородах. Кроме того, ему посчастливилось получить несколько страховых премий, и в конце концов он так разбогател, что дублинские газеты стали называть его торговым магнатом. Своего сына он отправил учиться в Англию, в большой католический колледж, а потом в Дублинский университет — изучать право. Джимми учился не слишком усердно и даже ненадолго сбился с пути. У него водились деньги, и его любили; он одинаково увлекался музыкой и автомобилями. Потом, на один семестр, его отправили в Кембридж повидать свет. Отец — не без упреков, но втайне гордясь мотовством сына, — заплатил долги Джимми и привез его домой. В Кембридже он и познакомился с Сегуэном. Большой дружбы между ними никогда не было, но Джимми очень нравилось общество человека, который столько повидал на своем веку и которому, по слухам, принадлежал один из самых больших отелей во Франции. С таким человеком (отец был того же мнения) стоило поддерживать знакомство, даже не будь он столь обаятельным собеседником. С Виллоной тоже было не скучно — блестящий

пианист, но, к сожалению, очень бедный.

Машина со смеющейся молодежью катила по улице. Кузены занимали передние сиденья; Джимми со своим другом, венгром, сидели на заднем. Положительно, Виллона был в прекрасном настроении; целые мили пути он своим глубоким басом гудел какую-то мелодию. С переднего сиденья доносились остроты французов и взрывы их смеха, и Джимми часто наклонялся вперед, чтобы поймать шутку. Это было не очень удобно, потому что все время приходилось угадывать смысл и выкрикивать ответ на встречном ветру. К тому же от гудения Виллоны можно было отупеть, да тут еще шум мотора.

Человек всегда испытывает подъем от быстрого движения по открытому пространству; и от известности; и от обладания деньгами. Эти три веские причины объясняли возбуждение Джимми. Многие из его знакомых видели его сегодня в обществе приезжих с континента. На старте Сегуэн познакомил Джимми с одним из участников французов, и в ответ на его нескладный комплимент на смуглом лице гонщика блеснул ряд белых зубов. Приятно было после такой чести, возвращаясь в мир непосвященных зрителей, ощущать подталкивания локтем и

многозначительные взгляды. А что до денег, то он в самом деле располагал крупной суммой. Сегуэну, может быть, это и не показалось бы крупной суммой, но Джимми, который, несмотря на свои временные заблуждения, был достойным наследником здравых инстинктов, прекрасно понимал, какого труда стоило сколотить ее. В свое время это удерживало его долги в границах допустимого мотовства, и если он так хорошо сознавал, сколько труда вложено в деньги, когда дело касалось всего лишь прихотей высокообразованного юноши, то уж тем более сейчас, когда он собирался рискнуть большею частью своего состояния! Для него это был серьезный вопрос.

Разумеется, дело было верное, и Сегуэн сумел создать впечатление, что только во имя дружбы лепта ирландца будет присоединена к капиталу концерна. Джимми питал уважение к зоркому глазу своего отца в коммерческих делах, а тут именно отец первый заговорил о том, чтобы войти в долю; стоило вкладывать деньги в автомобили — прибыльное дело. Кроме того, на Сегуэне, несомненно, лежала печать богатства. Джимми принялся переводить на рабочие дни стоимость роскошной машины, в которой он сидел. Какой мягкий у нее ход! С каким шиком

промчались они по дороге! Езда магическим перстом коснулась самого пульса жизни, и механизм человеческой нервной системы с готовностью отзывался на упругий бег синего зверя.

Они ехали по Дэйм-Стрит. Здесь была суета оживленного движения, шум автомобильных сирен и нетерпеливых трамвайных звонков. Возле банка Сегуэн затормозил, и Джимми с другом вышли. Кучка любопытных собралась на тротуаре воздать должное фыркающей машине. Компания сговорилась пообедать вечером в отеле, где остановился Сегуэн, а сейчас Джимми и его друг, живший у него, пойдут домой переодеться. Машина медленно отъехала по направлению к Грэфтон-Стрит, а молодые люди стали проталкиваться сквозь кучку ротозеев. Они зашагали на север, смутно ощущая, что ходьба не удовлетворяет их, а над ними, в дымке летнего вечера, город развешивал свои бледные шары света.

Для домашних Джимми этот обед был событием. Чувство гордости примешивалось к волнению отца, желанию действовать очертя голову: ведь названия великих континентальных столиц обладают свойством возбуждать это желание. А Джимми к тому же был очень элегантен во фраке, и, когда он стоял в холле, в последний раз

выравнивая концы белого галстука, его отец, возможно, испытывал удовлетворение почти как при удачной коммерческой сделке, что он обеспечил своего сына качествами, которые не всегда можно купить за деньги. Поэтому отец был необычайно любезен с Виллоной и всем своим видом выражал искреннее почтение перед иностранным лоском; но любезность хозяина, вероятно, пропала для венгра, которым уже начинало овладевать острое желание пообедать.

Обед был прекрасный, превосходный. У Сегуэна, решил Джимми, в высшей степени изысканный вкус. К компании присоединился молодой англичанин, некий Раут, которого Джимми как-то видел в Кембридже у Сегуэна. Молодые люди обедали в уютном маленьком зале, освещенном электрическими лампами. Все много и непринужденно болтали. Джимми, чье воображение воспламенилось, представил себе, как в крепкий костяк английской выдержки красиво вплетается французская живость обоих кузенов. Изящный образ, подумал он, и очень верный. Он восхищался ловкостью, с которой молодой хозяин направлял разговор. У всех пятерых были разные вкусы, и языки у них развязались. Виллона с беспредельным уважением стал открывать

слегка озадаченному англичанину красоты английского мадригала, сетуя, что старинных инструментов больше нет. Ривьер не без задней мысли принялся говорить Джимми о триумфе французской техники. Гулкий бас венгра уже начал было издеваться над аляповатой мазней художников романтической школы, но Сегуэн перевел разговор на политику, тут-то они и оживились. Джимми, которому уже было море по колено, почувствовал, как в нем всколыхнулся дремавший отцовский пыл: ему даже удалось расшевелить флегматичного Раута. Атмосфера в комнате накалялась, и Сегуэну становилось все трудней: спор грозил перейти в ссору. При первом удобном случае находчивый хозяин поднял бокал за Человечество, и все подхватили тост, а он с шумом распахнул окно.

В ту ночь Дублин надел маску столичного города. Пятеро молодых людей медленно шли по

Стивенз-Грин[28], притопывая при каждом «Но! Но! Hohe, vraiment!»[29].

На пристани они сели в лодку и стали грести к яхте американца. Там их ждал ужин, музыка, карты. Виллона с чувством сказал:

— Восхитительно!

В каюте яхты стояло пианино. Виллона сыграл вальс для Фарли и Ривьера; Фарли танцевал за кавалера, а Ривьер — за даму. Затем — экспромтом — кадриль, причем молодые люди выдумывали новые фигуры. Сколько веселья! Джимми с рвением принимал в нем участие; вот это действительно жизнь. Потом Фарли запыхался и крикнул: «Стоп!» Лакей принес легкий ужин, и молодые люди, для приличия, сели за стол. Но выпили много: настоящее богемское. Они пили за

---

[28] notes: 28

Парк в центре Дублина. в легком облаке благовонного дыма. Они громко и весело болтали, и их плащи свободно спускались с плеч. Прохожие уступали им дорогу. На углу Грэфтон-Стрит небольшого роста толстяк подсаживал двух нарядно одетых женщин в автомобиль, за рулем которого сидел другой толстяк. Машина отъехала, и толстяк увидел компанию молодых людей.

— Андре!

— Да это Фарли!

Последовал поток бессвязных слов. Фарли был американец. Никто толком не знал, о чем идет разговор. Больше всех шумели Виллона и Ривьер, но и остальные были в сильном возбуждении. Они, все громко хохоча, влезли в автомобиль. Они ехали мимо толпы, тонувшей теперь в мягком сумраке, под веселый перезвон колоколов. Они сели в поезд на станции Уэстленд-Роу и, как показалось Джимми, через несколько

секунд уже выходили с Кингзтаунского вокзала. Старик контролер поклонился Джимми:

— Прекрасная ночь, сэр!

Была тихая летняя ночь, гавань, словно затемненное зеркало, лежала у их ног. Они стали спускаться, взявшись под руки, хором затянув «Cadet Roussel»[«Кадет Руссель», французская полковая песня XVIII в., автор неизвестен.

[29] notes: 29

«О! О! Ой-ой, в самом деле!» *(франц.).*

Ирландию, за Англию, за Францию, за Венгрию, за Соединенные Штаты. Джимми сказал речь, длинную речь, и Виллона повторял: «Правильно! Правильно!» — как только тот делал паузу. Когда он кончил, все долго аплодировали. Хорошая, должно быть, вышла речь. Фарли хлопнул его по спине и громко расхохотался. Веселая компания! Как хорошо с ними!

Карты! Карты! Стол очистили. Виллона тихонько вернулся к пианино и стал импровизировать. Остальные играли кон за коном, отважно пускаясь на риск. Они пили за здоровье дамы бубен и за здоровье дамы треф. Джимми даже пожалел, что никто их не слышит: остроты так и сыпались. Азарт все разгорался, и в ход пошли банкноты. Джимми точно не знал, кто выигрывает, но он знал, что он в проигрыше. Впрочем, он сам был виноват, часто путался в картах, и его партнерам приходилось подсчитывать за него, сколько он должен. Компания была хоть куда, но скорей бы они кончали: становилось поздно. Кто-то провозгласил тост за яхту «Краса Ньюпорта», а потом еще кто-то предложил сыграть последний, разгонный.

Пианино смолкло; Виллона, вероятно, поднялся на палубу. Последний раз играли отчаянно.

Они сделали передышку перед самым концом и выпили на счастье. Джимми понимал, что режутся Раут и Сегуэн. Сколько волнения! Джимми тоже волновался: он-то проиграет, конечно. Сколько на него записано? Игроки стоя разыгрывали последние взятки, болтая и жестикулируя. Выиграл Раут. Каюта затряслась от дружного «ура», и карты собрали в колоду. Потом они стали рассчитываться. Фарли и Джимми проиграли больше всех.

Он знал, что утром пожалеет о проигрыше, но сейчас радовался за других, отдавшись темному оцепенению, которое потом оправдает его безрассудство. Облокотившись на стол и уронив голову на руки, он считал удары пульса. Дверь каюты отворилась, и на пороге, в полосе серого света, он увидел венгра.

— Рассвет, господа!

Два рыцаря
Перевод В. М. Топер

Теплый сумрак августовского вечера спустился на город, и мягкий теплый ветер, прощальный привет лета, кружил по улицам. Улицы с закрытыми по-воскресному ставнями кишели празднично разодетой толпой. Фонари, словно светящиеся жемчужины, мерцали с вершин высоких столбов над подвижной тканью внизу, которая, непрерывно изменяя свою форму и окраску, оглашала теплый вечерний сумрак неизменным, непрерывным гулом.

Двое молодых людей шли под гору по Ратленд-Сквер. Один из них заканчивал длинный монолог. Другой, шедший по самому краю тротуара, то и дело, из-за неучтивости своего спутника, соскакивал на мостовую, слушая внимательно и с видимым удовольствием. Он был приземист и краснощек. Его капитанка была сдвинута на затылок, и он слушал так внимательно, что каждое слово отражалось на его лице: у него вздрагивали ноздри, веки и уголки рта. Свистящий смех толчками вырывался из его корчащегося тела. Его

глаза, весело и хитро подмигивая, ежеминутно обращались на лицо спутника. Два-три раза он поправил легкий макинтош, накинутый на одно плечо, словно плащ тореадора. Покрой его брюк, белые туфли на резиновой подметке и ухарски накинутый макинтош говорили о молодости. Но фигура его уже приобретала округлость, волосы были редкие и седые, и лицо, когда волна чувств сбегала с него, становилось тревожным и усталым.

Убедившись, что рассказ окончен, он разразился беззвучным смехом, длившимся добрых полминуты. Затем он сказал:

— Ну, знаешь ли… это действительно номер!

Его голос, казалось, утратил всю силу; чтобы подкрепить свои слова, он прибавил, паясничая:

— Это номер единственный, исключительный и, если можно так выразиться, изысканный.

Сказав это, он замолчал и стал серьезен. Язык у него устал, потому что с самого обеда он без умолку говорил в одном из баров на Дорсет-Стрит. Многие считали Ленехэна блюдолизом, но благодаря своей находчивости и красноречию ему удавалось, несмотря на такую репутацию, избегать косых взглядов приятелей. Он умел как ни в чем не бывало подойти к их столику в баре и

мозолить глаза, пока его не приглашали выпить. Это был своего рода добровольный шут, вооруженный обширным запасом анекдотов, куплетов и загадок. Он не моргнув переносил любую обиду. Никто не знал, каким путем он добывает средства к жизни, но его имя смутно связывали с какими-то махинациями на скачках.

— А где ты ее подцепил, Корли? — спросил он.

Корли быстро провел языком по верхней губе.

— Как-то вечером, — сказал он, — шел я по Дэйм-Стрит и высмотрел аппетитную девчонку под часами на Уотерхауз и, как полагается, поздоровался. Ну, пошли мы пройтись на канал, и она сказала, что живет в прислугах где-то на Бэггот-Стрит. Я, конечно, обнял ее и немножко помял. А в воскресенье, понимаешь, у нас уже было свидание. Мы поехали в Доннибрук, и там я завел ее в поле. Она сказала, что до меня гуляла с молочником... Здорово, братец, скажу я тебе. Каждый вечер тащит папиросы и в трамвае платит за проезд туда и обратно. А как-то притащила две чертовски отличные сигары... Первый сорт, знаешь, такие, бывало, мой старик курил.. Я трусил, не забеременела бы, но она девка не промах.

— Может быть, она думает, что ты на ней женишься?

— Я сказал ей, что сейчас без места, — продолжал Корли. — И что служил у Пима[30]. Она не знает моей фамилии. Не такой я дурак, чтобы сказать. Но она думает, что я из благородных.

Ленехэн снова беззвучно рассмеялся.

— Много я слыхал историй, — сказал он, — но такого номера, признаюсь, не ожидал.

От этого комплимента шаг Корли стал еще размашистей. Колыхание его громоздкого тела заставило Ленехэна исполнить несколько легких прыжков с тротуара на мостовую и обратно. Корли был сыном полицейского инспектора и унаследовал сложение и походку отца. Он шагал, вытянув руки по швам, держась очень прямо и в такт покачивая головой. Голова у него была большая, шарообразная и сальная, она потела во всякую погоду; большая круглая шляпа сидела на ней боком, казалось, что одна луковица выросла из другой. Он всегда смотрел прямо, словно на параде, и, когда ему хотелось оглянуться на кого-нибудь из прохожих, он не мог этого сделать иначе, как повернувшись всем корпусом. В настоящее время он слонялся без дела. Когда где-нибудь освобождалось место, всегда находились друзья,

---

[30] notes: 30
Большой бакалейный магазин в Дублине.

готовые похлопотать за него. Он часто разгуливал с сыскными агентами, увлеченный серьезным разговором. Он знал закулисную сторону всех дел и любил выражаться безапелляционно. Он говорил, не слушая своих собеседников. Темой разговора преимущественно служил он сам: что он сказал такому-то, что такой-то сказал ему и что он сказал, чтобы сразу поставить точку. Когда он пересказывал эти диалоги, он произносил свою фамилию, особенно напирая на первую букву.

Ленехэн предложил своему другу папиросы. Пока молодые люди пробирались сквозь толпу, Корли время от времени оборачивался, чтобы улыбнуться проходящей мимо девушке, но взгляд Ленехэна был устремлен на большую бледную луну, окруженную двойным ореолом. Он задумчиво следил, как серая паутина сумерек проплывает по лунному диску. Наконец он сказал:

— Ну… так как же, Корли? Я думаю, ты сумеешь устроить это дело, а?

Корли в ответ выразительно прищурил один глаз.

— Пройдет это? — с сомнением спросил Ленехэн. — С женщиной никогда нельзя знать.

— Она молодчина, — сказал Корли. — Я знаю, как к ней подъехать. Она порядком в меня втю-

рилась.

— Ты настоящий донжуан, — сказал Ленехэн. — Прямо, можно сказать, всем донжуанам донжуан!

Легкий оттенок насмешки умерил подобострастие его тона. Чтобы спасти собственное достоинство, он всегда так преподносил свою лесть, что ее можно было принять за издевку. Но Корли таких тонкостей не понимал.

— Прислуга — это самый смак, — сказал он убежденно. — Можешь мне поверить.

— Еще бы не верить, когда ты их всех перепробовал, — сказал Ленехэн.

— Сначала, знаешь, я гулял с порядочными девушками, — сказал Корли доверительно, — ну, с этими, из Южного Кольца[31]. Я возил их куда-нибудь на трамвае и платил за проезд или водил на музыку, а то и в театр, и угощал шоколадом и конфетами, ну, вообще, что-нибудь в этом роде. Немало денег, братец, я на них потратил, — прибавил он внушительно, словно подозревая, что ему не верят.

Но Ленехэн вполне верил ему, он сочувственно кивнул головой.

---

[31] notes: 31
Богатый район Дублина.

— Знаю я эту канитель, — сказал он, — одно надувательство.

— И хоть бы какой-нибудь толк от них, — сказал Корли.

— Подписываюсь, — сказал Ленехэн.

— Только недавно развязался с одной, — сказал Корли.

Кончиком языка он облизал верхнюю губу. Глаза его заблестели от воспоминаний. Он тоже устремил взгляд на тусклый диск луны, почти скрывшейся за дымкой, и, казалось, погрузился в размышления.

— Она, знаешь, была… хоть куда, — сказал он с сожалением.

Он снова помолчал. Затем прибавил:

— Теперь она пошла по рукам. Я как-то вечером видел ее на Эрл-Стрит в автомобиле с двумя мужчинами.

— Это, разумеется, твоих рук дело, — сказал Ленехэн.

— Она и до меня путалась, — философски сказал Корли.

На этот раз Ленехэн предпочел не верить. Он замотал головой и улыбнулся.

— Меня не проведешь, Корли, — сказал он.

— Честное слово! — сказал Корли. — Она же

сама мне сказала.

Ленехэн сделал трагический жест.

— Коварный соблазнитель! — сказал он.

Когда они шли вдоль ограды Тринити-колледж[32], Ленехэн сбежал на мостовую и взглянул вверх, на часы.

— Двадцать минут, — сказал он.

— Успеем, — сказал Корли. — Никуда она не уйдет. Я всегда заставляю ее ждать.

Ленехэн тихо засмеялся.

— Корли, ты умеешь с ними обращаться, — сказал он.

— Я все их штучки знаю, — подтвердил Корли.

— Так как же, — снова сказал Ленехэн, — устроишь ты это? Знаешь, дело-то ведь щекотливое. На этот счет они не очень-то сговорчивы. А?.. Что?

Блестящими глазками он шарил по лицу своего спутника, ища вторичного подтверждения. Корли несколько раз тряхнул головой, словно отгоняя назойливое насекомое, и сдвинул брови.

— Я все устрою, — сказал он, — предоставь уж это мне.

Ленехэн замолчал. Ничего хорошего не будет, если его друг разозлится, пошлет его к черту и

---

[32] notes: 32

Иначе — Дублинский университет. Основан в 1591 г. с целью укрепить реформацию в Ирландии.

скажет, что в советах не нуждается. Надо быть тактичным. Но Корли недолго хмурился. Его мысли приняли другое направление.

— Она девчонка аппетитная, — сказал он со смаком. — Что верно, то верно.

Они прошли Нассау-Стрит, а потом свернули на Килдар-Стрит. На мостовой, невдалеке от подъезда клуба, стоял арфист, окруженный небольшим кольцом слушателей. Он безучастно пощипывал струны, иногда мельком взглядывая на лицо нового слушателя, а иногда — устало — на небо. Его арфа, безучастная к тому, что чехол спустился, тоже, казалось, устала — и от посторонних глаз, и от рук своего хозяина. Одна рука выводила в басу мелодию «Тиха ты, Мойль»[33], а другая пробегала по дисканту после каждой фразы. Мелодия звучала глубоко и полно.

Молодые люди молча прошли мимо, провожаемые скорбным напевом. Дойдя до Стивенз-Грин, они пересекли улицу. Здесь шум трамваев, огни и толпа избавили их от молчания.

— Вот она! — сказал Корли.

На углу Хьюм-Стрит стояла молодая женщина. На ней были синее платье и белая соломенная

---

[33] notes: 33
Баллада на стихи ирландского поэта Томаса Мура (1779–1852).

шляпа. Она стояла у бордюрного камня и помахивала зонтиком. Ленехэн оживился.

— Я погляжу на нее, ладно, Корли? — сказал он.

Корли искоса посмотрел на своего друга, и неприятная усмешка появилась на его лице.

— Отбить собираешься? — спросил он.

— Какого черта, — не смущаясь, сказал Ленехэн, — я ведь не прошу, чтобы ты меня познакомил. Я только хочу взглянуть. Не съем же я ее.

— А… взглянуть? — сказал Корли более любезным тоном. — Тогда… вот что я тебе скажу. Я подойду и заговорю с ней, а ты можешь пройти мимо.

— Ладно! — сказал Ленехэн.

Корли уже успел занести ногу через цепь, когда Ленехэн крикнул:

— А после? Где мы встретимся?

— В половине одиннадцатого, — ответил Корли, перебрасывая другую ногу.

— Где?

— На углу Меррион-Стрит. Когда мы будем возвращаться.

— Смотри не подкачай, — сказал Ленехэн на прощание.

Корли не ответил. Он не спеша зашагал через

улицу, в такт покачивая головой. В его крупном теле, размашистой походке и внушительном стуке каблуков было что-то победоносное. Он подошел к молодой женщине и, не поздоровавшись, сразу заговорил с ней. Она быстрей замахала зонтиком, покачиваясь на каблуках. Раз или два, когда он говорил что-то, близко наклонившись к ней, она засмеялась и опустила голову.

Ленехэн несколько минут наблюдал за ними. Потом он торопливо зашагал вдоль цепи и, пройдя немного, наискось перешел улицу. Приближаясь к углу Хьюм-Стрит, он почувствовал сильный запах духов и быстрым испытующим взглядом окинул молодую женщину. Она была в своем праздничном наряде. Синяя шерстяная юбка была схвачена на талии черным кожаным поясом. Большая серебряная пряжка, защемившая легкую ткань белой блузки, словно вдавливала середину ее фигуры. На ней был короткий черный жакет с перламутровыми пуговицами и потрепанное черное боа. Оборки кружевного воротничка были тщательно расправлены, а на груди был приколот большой букет красных цветов стеблями кверху. Глаза Ленехэна одобрительно остановились на ее короткой мускулистой фигуре. Здоровье откровенно и грубо цвело на лице, на толстых румяных

щеках и в беззастенчивом взгляде голубых глаз. Черты лица были топорные. У нее были широкие ноздри, бесформенный рот, оскаленный в довольной улыбке, два верхних зуба выдавались вперед. Поравнявшись с ними, Ленехэн снял свою капитанку, и секунд через десять Корли ответил поклоном в пространство. Для этого он задумчиво и нерешительно поднял руку и несколько изменил положение своей шляпы.

Ленехэн дошел до самого отеля «Шелбурн»[34], там он остановился и стал ждать. Подождав немного, он увидел, что они идут ему навстречу, и, когда они свернули направо, он последовал за ними по Меррион-Сквер, легко ступая в своих белых туфлях. Медленно идя за ними, равняя свой шаг по их шагам, он смотрел на голову Корли, которая ежеминутно повертывалась к лицу молодой женщины, как большой шар, вращающийся на стержне. Он следил за ними, пока не увидел, что они поднимаются по ступенькам донибрукского трамвая; тогда он повернул и пошел обратно той же дорогой.

Теперь, когда он остался один, его лицо казалось старше. Веселое настроение, по-видимому,

---

[34] notes: 34
Богатый отель для туристов.

покинуло его, и, проходя мимо Дьюк-Лоун, он провел рукой по ограде. Мало-помалу мелодия, которую играл арфист, подчиняла себе его движения. Мягко обутые ноги исполняли мелодию, между тем как пальцы после каждой фразы лениво выстукивали вариации по ограде.

Он рассеянно обогнул Стивенз-Грин и пошел по Грэфтон-Стрит. Хотя глаза его многое отмечали в толпе, сквозь которую он пробирался, они глядели угрюмо. Все, что должно было пленить его, казалось ему пошлым, и он не отвечал на взгляды, приглашавшие его быть решительным. Он знал, что ему пришлось бы много говорить, выдумывать и развлекать, а в горле и в мозгу у него было слишком сухо для этого. Вопрос, как провести время до встречи с Корли, несколько смущал его. Он ничего не мог придумать, кроме как продолжать свою прогулку. Дойдя до угла Ратленд-Сквер, он свернул налево, и на темной тихой улице, мрачный вид которой подходил к его настроению, он почувствовал себя свободней. Наконец он остановился у окна убогой пивнушки с вывеской, на которой белыми буквами было написано: «Воды и закуски». За оконным стеклом раскачивались две дощечки с надписями: «Имбирное пиво» и «Имбирный эль». На большом

синем блюде был выставлен нарезанный окорок, а рядом, на тарелке — четвертушка очень дешевого пудинга. Он несколько минут внимательно рассматривал эту снедь и затем, опасливо взглянув направо и налево, быстро вошел в пивную.

Он был ужасно голоден, если не считать бисквитов, которых он еле допросился у двух ворчливых официантов, он ничего не ел с самого завтрака. Он сел за непокрытый деревянный стол напротив двух работниц и рабочего. Неопрятная служанка подошла к нему.

— Сколько стоит порция гороха? — спросил он.

— Полтора пенса, сэр, — сказала служанка.

— Дайте мне порцию гороха, — сказал он, — и бутылку имбирного пива.

Он говорил нарочито грубо, чтобы они приняли его за своего, так как после его появления все насторожились и замолчали. Щеки у него горели. Желая казаться непринужденным, он сдвинул капитанку на затылок и поставил локти на стол. Рабочий и обе работницы внимательно осмотрели его с головы до ног, прежде чем вполголоса возобновить разговор. Служанка принесла ему порцию горячего гороха, приправленного перцем и уксусом, вилку и имбирное пиво. Он жадно принялся за еду, и она показалась ему такой вкусной,

что он решил запомнить эту пивную. Доев горох, он остался сидеть, потягивая пиво и раздумывая о похождениях Корли. Он представил, как влюбленная пара идет по какой-то темной дороге; он слышал голос Корли, произносивший грубоватые комплименты, и снова видел оскаленный рот молодой женщины. Это видение вызвало в нем острое сознание собственной нищеты — и духа, и кармана. Он устал от безделья, от вечных мытарств, от интриг и уловок. В ноябре ему стукнет тридцать один. Неужели он никогда не получит хорошего места? Он подумал, как приятно было бы посидеть у своего камина, вкусно пообедать за своим столом. Достаточно шатался он по улицам с друзьями и девчонками. Он знал цену друзьям и девчонок знал насквозь. Жизнь ожесточила его сердце, восстановила против всего. Но надежда не совсем покинула его. Ему стало легче после того, как он поел, он уже не чувствовал себя таким усталым от жизни, таким морально подавленным. Он и сейчас может обосноваться где-нибудь в тихом уголке и зажить счастливо, лишь бы попалась хорошая, бесхитростная девушка с кое-какими сбережениями.

Он заплатил неопрятной служанке два с половиной пенса, вышел из пивной и снова начал

бродить по улицам. Он пошел по Кэйпел-Стрит и направился к зданию Сити-Холл. Потом свернул на Дэйм-Стрит. На углу Джордж-Стрит он столкнулся с двумя приятелями и остановился поболтать с ними. Он был рад отдохнуть от ходьбы. Приятели спросили, видел ли он Корли и что вообще слышно. Он ответил, что провел весь день с Корли. Приятели говорили мало. Они рассеянно оглядывали лица в толпе и время от времени роняли иронические замечания. Один из них сказал, что встретил Мака час назад на Уэстморленд-Стрит. На это Ленехэн сказал, что вчера вечером был с Маком в баре Игана. Молодой человек, который встретил Мака на Уэстморленд-Стрит, спросил, правда ли, что Мак выиграл крупное пари на бильярдном турнире. Ленехэн не знал, он сказал, что Хулоен угощал их всех вином у Игана.

Он попрощался с приятелями без четверти десять и пошел по Джордж-Стрит. У Городского рынка он свернул налево и зашагал по Грэфтон-Стрит. Толпа девушек и молодых людей поредела, и он слышал на ходу, как компании и парочки желали друг другу спокойной ночи. Он дошел до самых часов Хирургического колледжа: должно было пробить десять. Он заспешил по северной

стороне Стивенз-Грин, опасаясь как бы Корли не вернулся раньше времени. Когда он дошел до угла Меррион-Стрит, он занял наблюдательный пост в тени фонаря, достал одну из припрятанных папирос и закурил. Он прислонился к фонарному столбу и не отрываясь глядел в ту сторону, откуда должны были появиться Корли и молодая женщина.

Его мысль снова заработала. Он думал о том, успешно ли Корли справился. Попросил ли он во время прогулки или отложил до последней минуты. Он терзался от унизительности положения своего друга и своего собственного. Но воспоминание о Корли, медленно повернувшемся к нему на улице, несколько успокоило его: он был уверен, что Корли все устроит. Вдруг у него мелькнула мысль: а может быть, Корли проводил ее домой другой дорогой и улизнул от него? Его глаза обшарили улицу: ни намека на них. А ведь прошло не менее получаса с тех пор, как он посмотрел на часы Хирургического колледжа. Неужели Корли на это способен? Он закурил последнюю папиросу и стал нервно затягиваться. Он напрягал зрение каждый раз, как на противоположном углу площади останавливался трамвай. Гильза его папиросы лопнула, и он,

выругавшись, бросил ее на мостовую.

Вдруг он увидел, что они идут к нему. Он встрепенулся от радости и, прижавшись к столбу, старался угадать результат по их походке. Они шли быстро, молодая женщина делала быстрые, короткие шажки, а Корли подлаживал к ней свой размашистый шаг. Видно, они молчали. Предчувствие неудачи кольнуло его, как кончик острого инструмента. Он знал, что У Корли ничего не выйдет; он знал, что все впустую.

Они свернули на Бэггот-Стрит, и он сейчас же пошел за ними по другой стороне. Когда они остановились, остановился и он. Они немного поговорили, а потом молодая женщина спустилась по ступенькам в подвальный этаж одного из домов. Корли остался стоять на краю тротуара, недалеко от подъезда. Прошло несколько минут. Затем входная дверь подъезда медленно и осторожно открылась. По ступенькам сбежала женщина и кашлянула. Корли повернулся и подошел к ней. На несколько секунд его широкая спина закрыла ее, а затем женщина снова появилась — она бежала вверх по ступенькам. Дверь закрылась за ней, и Корли торопливо зашагал по направлению к Стивенз-Грин.

Ленехэн поспешил в ту же сторону. Упало

несколько капель мелкого дождя. Он принял это за предостережение и, оглянувшись на дом, в который вошла молодая женщина, чтобы удостовериться, что никто за ним не следит, со всех ног бросился через дорогу. От волнения и быстрого бега он сильно запыхался. Он крикнул:

— Эй, Корли!

Корли повернулся, чтобы посмотреть, кто его зовет, и затем продолжал шагать по-прежнему. Ленехэн побежал за ним, одной рукой придерживая на плече макинтош.

— Эй, Корли! — снова крикнул он.

Он поравнялся со своим другом и жадно заглянул ему в лицо. Но ничего там не увидел.

— Ну? — сказал он. — Вышло или нет?

Они дошли до угла Или-Плэйс. Все еще не отвечая, Корли повернул налево и зашагал по переулку. Черты его застыли в суровом спокойствии. Ленехэн шел в ногу со своим другом и тяжело дышал. Он был обманут, и в его голосе прорвалась угрожающая нотка.

— Что же ты, ответить не можешь? — сказал он. — Ты хоть попробовал?

Корли остановился у первого фонаря и устремил мрачный взгляд в пространство. Затем торжественно протянул руку к свету и, улыбаясь,

медленно разжал ее под взглядом своего товарища. На ладони блестела золотая монетка.

Пансион
Перевод Н. А. Волжиной

Миссис Муни была дочерью мясника. Эта женщина умела постоять за себя: она была женщина решительная. Она вышла замуж за старшего приказчика отца и открыла мясную лавку около Спринг-Гарденз. Но как только тесть умер, мистер Муни пустился во все тяжкие. Он пил, запускал руку в кассу, занимал направо и налево. Брать с него обещания исправиться было бесполезно; все равно его хватало только на несколько дней. Драки с женой в присутствии покупателей и низкое качество мяса подорвали торговлю. Как-то ночью он погнался за женой с секачом, и ей пришлось переночевать у соседей.

После этого они стали жить врозь. Она пошла к священнику и получила разрешение на раздельное жительство с правом воспитывать детей. Она отказала мужу в деньгах, в комнате, отказалась кормить его, и поэтому мистеру Муни пришлось пойти в подручные к шерифу. Он был потрепанный, сгорбленный пьянчужка с белесым лицом, белесыми усиками и белесыми бровями, будто

выведенными карандашом поверх маленьких глаз в красных жилках и воспаленных; весь день он сидел в комнате судебного пристава, дожидаясь, когда его куда-нибудь пошлют. Миссис Муни, которая на оставшиеся от мясной торговли деньги открыла пансион на Хардуик-Стрит, была крупная женщина весьма внушительного вида. В ее пансионе все время менялись жильцы — туристы из Ливерпуля и с острова Мэн, а иногда артисточки из мюзик-холлов. Постоянное население составляли дублинские клерки. Она правила домом весьма искусно и твердо знала, когда можно открыть кредит, когда посмотреть сквозь пальцы, когда проявить строгость. Молодежь из постоянных жильцов называла ее между собой *Мадам.*

Молодые люди платили миссис Муни пятнадцать шиллингов в неделю за стол и комнату (не включая пиво и портер к обеду). Вкусы и занятия у них были общие, и поэтому они очень дружили между собой. Они обсуждали шансы фаворитов и темных лошадок. У Джека Муни, сына Мадам, служившего в торговом агентстве на Флит-Стрит, была плохая репутация. Он любил ввернуть крепкое солдатское словечко; домой возвращался обычно на рассвете. При встречах с приятеля-

ми у него всегда имелся про запас забористый анекдот, и он всегда первый узнавал интересные новости — например, про «подходящую» лошадку или «подходящую» артисточку. Кроме того, он неплохо боксировал и исполнял комические куплеты. По воскресеньям в большой гостиной миссис Муни иногда устраивались вечеринки. Их удостаивали своим присутствием артисты из мюзик-холла; Шеридан играл вальсы и польки, импровизируя аккомпанемент. Полли Муни, дочь Мадам, тоже выступала. Она пела:

Я легкомысленна, дерзка.
Зачем таить –
Тут нет греха.

Полли была тоненькая девушка девятнадцати лет; у нее были мягкие светлые волосы и маленький пухлый рот. Когда она с кем-нибудь разговаривала, ее зеленовато-серые глаза смотрели на собеседника снизу вверх, и тогда она становилась похожа на маленькую порочную мадонну. Миссис Муни определила дочь машинисткой в контору по продаже зерна, но беспутный подручный шерифа повадился ходить туда через день, спрашивал позволения поговорить с дочерью, и миссис Муни пришлось

взять дочь из конторы и приспособить ее дома по хозяйству. Так как Полли была очень живая девушка, предполагалось поручить молодых людей ее заботам. Ведь всегда молодым людям приятно, когда поблизости молодая девушка. Полли, конечно, флиртовала с ними, но миссис Муни, женщина проницательная, понимала, что молодые люди только проводят время: ни у кого из них не было серьезных намерений. Так продолжалось довольно долго, и миссис Муни начала уже подумывать, не посадить ли Полли опять за машинку, как вдруг она заметила, что между Полли и одним из молодых людей что-то происходит. Она стала следить за ними, но пока что держала все про себя.

Полли знала, что за ней следят, но упорное молчание матери говорило яснее слов. Между матерью и дочерью не было ни открытого уговора, ни открытого соучастия, но, несмотря на то, что в доме стали уже поговаривать о романе, миссис Муни все еще не вмешивалась. Полли начала вести себя несколько странно, а у молодого человека был явно смущенный вид. Наконец, решив, что подходящий момент настал, миссис Муни вмешалась. Она расправлялась с жизненными затруднениями с такой же легкостью, с какой

секач расправляется с куском мяса; а в данном случае решение было принято.

Ясное воскресное утро сулило жару, но ее смягчал свежий ветерок. Все окна в пансионе были открыты, и кружевные занавески мягко пузырились из-под приподнятых рам. Колокольня церкви Святого Георгия слала призыв за призывом, и верующие поодиночке или группами пересекали небольшую круглую площадь перед церковью; степенный вид не менее, чем молитвенники, которые они держали в руках, затянутых в перчатки, выдавал их намерения. Завтрак в пансионе был закончен, и на столе в беспорядке стояли тарелки с размазанным по ним яичным желтком, с кусочками свиного сала и шкуркой от ветчины. Миссис Муни, сидя в плетеном кресле, следила, как служанка Мэри убирает со стола. Она заставила Мэри собрать все корочки и кусочки мякиша, которые могли пойти на хлебный пудинг ко вторнику. Когда со стола было убрано, остатки хлеба собраны, сахар и масло припрятаны и заперты на ключ, миссис Муни начала перебирать в памяти подробности своего вчерашнего разговора с Полли. Все оказалось так, как она и предполагала: она задавала вопросы прямо, и Полли так же пря-

мо отвечала на них. Обе, конечно, чувствовали некоторую неловкость. Миссис Муни чувствовала неловкость потому, что не хотела встретить новости слишком уж благосклонно, не хотела показаться соучастницей, а неловкость, которую чувствовала Полли, объяснялась не только тем, что такого рода намеки всегда вызывали у нее чувство неловкости, — ей не хотелось дать понять, что в своей мудрой невинности она угадала определенную цель, таившуюся под снисходительностью матери.

Миссис Муни, как только услышала сквозь свое раздумье, что колокола у Святого Георгия смолкли, сейчас же невольно взглянула на маленькие позолоченные часики, стоявшие на камине. Семнадцать минут двенадцатого: еще есть время, чтобы поговорить начистоту с мистером Дораном и поспеть к двенадцатичасовой службе на Малборо-Стрит. Она была уверена в победе. Начать с того, что общественное мнение будет на ее стороне: на стороне оскорбленной матери. Она открыла ему двери своего дома, полагая, что он порядочный человек, а он попросту злоупотребил ее гостеприимством. Ему лет тридцать пять, поэтому ссылаться на молодость нельзя, неискушенность тоже не может служить оправданием

— он достаточно знает жизнь. Он просто воспользовался молодостью и неопытностью Полли, это совершенно очевидно. Вопрос был в том, как он думает искупить свою вину.

А искупить свою вину он обязан. Хорошо мужчине: позабавился и пошел своей дорогой, будто ничего и не было, а девушке приходится принимать всю тяжесть вины на себя. Есть матери, которые согласились бы замять это дело за известную сумму; подобные случаи бывали. Но она не из таких. Лишь одно может искупить потерянную честь дочери: женитьба.

Миссис Муни снова пересчитала свои козыри, прежде чем послать Мэри к мистеру Дорану с предупреждением, что она хочет поговорить с ним. Она была уверена в победе. Он — серьезный молодой человек, не какой-нибудь шалопай или крикун, как другие. Окажись на его месте мистер Шеридан, или мистер Мид, или Бентем Лайонс, ее задача была бы куда труднее. Вряд ли он пойдет на то, чтобы предать дело гласности. Постояльцы обо всем знают; кое-кто уже присочинил некоторые подробности. Кроме того, он тринадцать лет работает в конторе одной крупной католической винной кампании, и, возможно, огласка для него равносильна потере места. А если согласится, все

будет в порядке. Она знала, что заработок у него, во всяком случае, очень приличный, и догадывалась, что сбережения тоже имеются.

Почти половина двенадцатого! Она встала и посмотрела на себя в трюмо. Миссис Муни осталась довольна решительным выражением своего большого, пышущего здоровьем лица и подумала о некоторых знакомых ей матерях, которые никак не могут сбыть с рук своих дочерей.

Мистер Доран действительно очень волновался в это воскресное утро. Он дважды начинал бриться, но руки у него так дрожали, что пришлось оставить это занятие. Трехдневная рыжая щетина окаймляла его лицо, очки запотевали, так что каждые две-три минуты приходилось протирать их носовым платком. Воспоминание о вчерашней исповеди причиняло ему острую боль; священник выведал у него все самые постыдные подробности и под конец так раздул его грех, что теперь мистер Доран чуть ли не испытывал благодарность за то, что предоставляется возможность искупить свою вину. Зло уже сделано. Что ему теперь оставалось — жениться или спастись бегством? У него не хватит духу пойти наперекор всем. Об этой истории наверняка заговорят, слухи докатятся, конечно, и до его

патрона. Дублин такой маленький городишко: все друг про друга все знают. У мистера Дорана екнуло сердце; его расстроенное воображение нарисовало мистера Леонарда, когда он скрипучим голосом скажет: «Пошлите ко мне мистера Дорана, пожалуйста!»

Все долгие годы службы пропали ни за что! Все его прилежание, старательность пошли прахом! В юности он, конечно, вольничал: хвалился своими взглядами, отрицал существование бога, шатаясь с приятелями по пивным. Все это дело прошлое, с этим покончено… почти. Он до сих пор еще покупает каждую неделю газету «Рейнолдз»[35], но регулярно посещает церковь и девять десятых года ведет скромный образ жизни. На то, чтобы зажить своим домом, денег у него хватит; но дело не в этом. В семье будут коситься на Полли. Прежде всего этот ее беспутный отец, а потом пансион ее мамаши, о котором уже пошла определенная слава. Он чувствовал, что попался. Он представлял, как приятели будут обсуждать эту историю и смеяться над ним. Конечно, в Полли есть что-то вульгарное, иногда она говорит «благодаря этого», «колидор». Но что грамматика,

---

[35] notes: 35
Радикальная лондонская газета.

если бы он любил ее по-настоящему! Он все еще не мог решить, любит он ее или презирает за то, что она сделала. Да, но ведь он тоже принимал в этом участие. Инстинкт подсказывал, что надо сохранить свободу, отвертеться от женитьбы. Как говорят, раз уж женился — кончено.

Сидя на краю постели без пиджака, в совершенной растерянности, он услышал, как Полли тихо постучалась и вошла в комнату. Она рассказала ему все, рассказала, что призналась матери и что мать будет говорить с ним сегодня утром. Она заплакала и сказала, обняв его за шею:

— Ах, Боб! Боб! Что мне делать? Что мне теперь делать?

Она говорила, что покончит с собой.

Он вяло утешал ее, уговаривал не плакать, все уладится, бояться нечего. Он чувствовал сквозь рубашку, как волнуется ее грудь.

Не он один был виноват во всем, что случилось. В его цепкой памяти холостяка встали первые случайные ласки, которые дарили ему ее платье, ее дыхание, ее пальцы. Потом, как-то вечером, когда он уже раздевался, Полли робко постучалась в дверь. Ей нужно было зажечь от его свечи свою свечку, задутую сквозняком. Она только что приняла ванну. На ней было свободное, открытое

матине из пестрой фланели. Ее белая ступня виднелась в вырезе отороченных мехом ночных туфель, кровь струилась теплом под душистой кожей. Она зажигала и поправляла свечу, а от ее рук тоже шло слабое благоухание.

По вечерам, когда он поздно возвращался домой, Полли сама подогревала ему обед. Он почти не разбирал, что ест, когда она сидела возле него, и они были совсем одни в спящем доме. А ее заботливость! Если ночь была холодная, сырая или ветреная, его всегда ждал стаканчик пунша. Может быть, они будут счастливы…

Потом они шли по лестнице на цыпочках, каждый со своей свечой, и на третьей площадке нехотя желали друг другу спокойной ночи. Потом целовались. Он хорошо помнил ее глаза, прикосновение ее рук, свое безумство…

Но безумство проходит. Он повторил мысленно ее слова, применив их к себе: *«Что мне делать?»* Инстинкт холостяка предостерегал его. Но грех был совершен; и даже его понятие о чести требовало, чтобы он искупил грех.

Они сидели вдвоем на кровати, а в это время к дверям подошла Мэри и сказала, что хозяйка ждет его в гостиной. Он встал, надел жилетку и пиджак, чувствуя себя еще более растерянным.

Одевшись, он подошел к Полли. Все уладится, бояться нечего. Она плакала, сидя на постели, и тихо стонала:

– *Боже мой! Боже мой!*

Пока он спускался по лестнице, очки у него так запотели, что пришлось снять их и протереть. Ему хотелось вылететь сквозь крышу и унестись куда-нибудь в другую страну, где можно будет забыть об этом несчастье, и все-таки, влекомый какой-то силой, он спускался по лестнице ступенька за ступенькой. Неумолимые лица патрона и Мадам взирали на его поражение. Возле лестницы он столкнулся с Джеком Муни, который шел из кладовой, держа в объятиях две бутылки пива. Они холодно поздоровались; и глаза любовника секунду-другую задержались на тяжелой, бульдожьей физиономии и паре здоровенных коротких ручищ. Спустившись с лестницы, он взглянул наверх и увидел, что Джек следит за ним, стоя в дверях буфетной.

И вдруг он вспомнил тот вечер, когда один из артистов мюзик-холла, маленький белокурый лондонец, отпустил какое-то довольно смелое замечание насчет Полли. Ярость Джека чуть ли не расстроила вечеринку. Все старались успокоить его. Артист мюзик-холла, немного побледнев,

все улыбался и говорил, что никого не хотел обидеть; но Джек продолжал орать: если только кто-нибудь посмеет вольничать с его сестрой, он живо этого молодчика без зубов оставит, будьте покойны.

Несколько минут Полли сидела на кровати и плакала. Потом она вытерла глаза и подошла к зеркалу. Она намочила конец полотенца в кувшине и освежила глаза холодной водой. Она посмотрела на себя в профиль и поправила шпильку над ухом. Потом она опять подошла к кровати и села в ногах. Она долго смотрела на подушки, и вид их вызвал у нее сокровенные, приятные воспоминания. Она прислонилась затылком к холодной спинке кровати и задумалась. На ее лице уже не оставалось и следа тревоги.

Она ждала терпеливо, почти радостно, без всякого страха, воспоминания постепенно уступали место надеждам и мечтам о будущем. Она была так поглощена своими надеждами и мечтами, что уже не видела белой подушки, на которую был устремлен ее взгляд, не помнила, что ждет чего-то.

Наконец Полли услышала голос матери. Она вскочила с кровати и подбежала к перилам.

— Полли! Полли!

— Да, мама?

— Сойди вниз, милочка. Мистер Доран хочет поговорить с тобой.

Тогда Полли вспомнила, чего она дожидалась.

Облачко
Перевод М. П. Богословской-Бобровой

Восемь лет прошло с тех пор, как он провожал своего друга на пристани Норт-Уолл и желал ему счастливого пути. Галлахер пошел в гору. Это сразу было видно по его повадкам завзятого путешественника, по твидовому костюму хорошего покроя и развязному тону. Немного на свете таких талантливых людей, а еще меньше — не испорченных успехом. У Галлахера золотое сердце, и он заслуживал успеха. Не шутка — иметь такого друга, как он.

С самого завтрака мысли Крошки Чендлера вертелись вокруг его встречи с Галлахером, приглашения Галлахера и столичной жизни, которой жил Галлахер. Его прозвали Крошка Чендлер потому, что он казался маленьким, хотя на самом деле был только немного ниже среднего роста. Руки у него были маленькие и белые, телосложение — хрупкое, голос — тихий, манеры — изысканные. Он очень заботился о своих светлых шелковистых волосах и усиках, и

от его носового платка шел еле слышный запах духов. Лунки ногтей были безупречной формы, и, когда он улыбался, виден был ряд белых, как у ребенка, зубов.

Сидя за своей конторкой в Кингз-Иннз[36], он думал о том, какие перемены произошли за эти восемь лет. Друг, который был вечно обтрепан и без копейки денег, превратился в блестящего лондонского журналиста. Он то и дело отрывался от скучных бумаг и устремлял взгляд в открытое окно. Багрянец осеннего заката лежал на аллеях и газоне. Он милостиво осыпал золотой пылью неопрятных нянек и ветхих стариков, дремлющих на скамейках; он играл на всем, что двигалось, — на детях, с визгом бегавших по усыпанным гравием дорожкам, и на прохожих, пересекавших парк. Крошка Чендлер смотрел на эту картину и размышлял о жизни; и (как всегда, когда он размышлял о жизни) ему стало грустно. Им овладела тихая меланхолия. Он ощутил, как бесполезно бороться с судьбой, — таково было бремя мудрости, завещанное ему веками.

Он вспомнил томики стихов, стоявшие дома на полках. Он купил их еще в холостые годы,

---

[36] notes: 36

Кингз-Иннз — ирландский эквивалент Судебных иннов в Лондоне, то есть корпорации, готовящей опытных адвокатов.

и часто по вечерам, сидя в маленькой комнате возле прихожей, он испытывал желание достать с полки один из томиков и почитать вслух своей жене. Но каждый раз робость удерживала его; и книги так и оставались на своих полках. Иногда он повторял про себя стихи, и это утешало его.

Когда рабочий день кончился, он аккуратно встал из-за своей конторки и по очереди попрощался со всеми. Он вышел из-под средневековой арки палаты в Кингз-Иннз — аккуратная, скромная фигурка — и быстро зашагал по Хенриетта-Стрит. Золотистый закат догорал, и становилось прохладно. Улица была полна грязными детьми. Они стояли или бегали на мостовой, ползали по ступенькам перед распахнутыми дверьми, сидели на порогах, притаившись как мыши. Крошка Чендлер не замечал их. Он ловко прокладывал себе путь сквозь эту суетящуюся жизнь под сенью сухопарых призрачных дворцов, где в старину пировала дублинская знать. Но картины прошлого не волновали его, он предвкушал радость встречи.

Он никогда не бывал у «Корлесса»[37], но хорошо знал, что это — марка. Он знал, что туда

---

[37] notes: 37
Дорогой ресторан.

приезжают после театра есть устрицы и пить ликеры; и он слыхал, что официанты там говорят по-французски и по-немецки. Когда вечерами он торопливо проходил мимо, он видел, как к подъезду подкатывали кебы и нарядные дамы в сопровождении своих кавалеров выходили из них и быстро исчезали за дверью. На них были шуршащие платья и много накидок. Лица их были напудрены, и, сходя с подножки, они подбирали юбки, словно испуганные Аталанты[38]. Проходя мимо, он не поворачивал головы, чтобы взглянуть на них. У него была привычка даже днем быстро ходить по улицам, а когда ему случалось поздно вечером быть в центре города, он почти бежал, испытывая одновременно и страх, и возбуждение. Впрочем, иногда он сам искал повода для страха. Он выбирал самые темные и узкие улицы и смело шагал вперед, и тишина, расстилавшаяся вокруг его шагов, пугала его; и временами от приглушенного и мимолетного взрыва смеха он весь трепетал, как лист.

Он свернул направо, на Кэйпел-Стрит. Игнатий Галлахер — лондонский журналист! Кто бы мог такое подумать восемь лет назад? Однако, огля-

[38] notes: 38

Мифологическая греческая принцесса, знаменитая своей красотой и быстроногостью.

дываясь на прошлое, Крошка Чендлер открывал в своем друге много признаков будущего величия. Галла-хера обычно называли шалопаем. И верно, в то время он путался с самым отребьем, много пил и занимал деньги направо и налево. В конце концов он влип в грязную историю — какая-то афера; по крайней мере, такова была одна из версий его бегства. Но никто не мог отказать ему в таланте. В Игнатии Галлахере всегда было нечто… нечто внушающее людям уважение, даже против их воли. Даже когда он ходил с драными локтями и без гроша в кармане, он не терял бодрости. Крошка Чендлер вспомнил (и при этом воспоминании легкая краска гордости выступила на его щеках), как Игнатий Галлахер говаривал, когда ему приходилось туго.

— Одна минута перерыва, ребята, — говорил он беспечно. — Дайте мне пораскинуть мозгами!

В этом был весь Игнатий Галлахер; и, черт возьми, нельзя было не восхищаться им.

Крошка Чендлер ускорил шаг. Первый раз в жизни он чувствовал себя выше людей, мимо которых проходил. Первый раз в жизни его душа восстала против тусклого убожества Кэйпел-Стрит. Не подлежит сомнению: чтобы добиться успеха, нужно уехать отсюда. В Дублине ниче-

го нельзя сделать. Переходя Грэттенский мост, он с жалостью смотрел на захиревшие дома на дальних набережных реки. Они казались ему шайкой бродяг, обтрепанных, покрытых пылью и сажей, жмущихся друг к другу на берегу; завороженные панорамой заката, они ждут первого холодка ночи, который велит им встать, встряхнуться и уйти. Он подумал о том, не удастся ли ему выразить эту мысль стихами. Может быть, Галлахер сможет поместить их в одной из лондонских газет. Сумеет он написать что-нибудь оригинальное? Он не вполне представлял себе, какую мысль ему хочется выразить, но сознание, что поэтическое вдохновение коснулось его, зародило в нем младенческую надежду. Он бодро зашагал вперед.

С каждым шагом он приближался к Лондону, удалялся от скучной, прозаической жизни. Перед ним забрезжил свет. Он еще не стар — тридцать два года. Можно сказать, что его поэтический дар именно сейчас достиг зрелости. Столько чувств и дум ему хотелось выразить в стихах! Он носил их в себе. Он старался погрузиться в свою душу, чтобы узнать, подлинно ли у него душа поэта. Он считал главной чертой своего таланта меланхолию, но меланхолию, смягченную порывами

веры, покорностью судьбе и невинной радостью. Если бы он сумел выразить себя в книжке стихов, может быть, к его голосу прислушались бы. Он никогда не станет популярным; это он понимал. Он не сумеет покорить толпу, но, может быть, его оценит избранный круг родственных душ. Английские критики из-за меланхолического тона его стихов, вероятно, отнесут его к поэтам кельтской школы. Кроме того, он сам будет намекать на это. Он начал придумывать фразы из будущей рецензии на его книгу. *«Мистер Чендлер обладает даром легкого и изящного стиха»… «Его стихи проникнуты задумчивой грустью»… «Кельтские нотки»…* Жаль, что у него такая неирландская фамилия. Может быть, после имени поставить фамилию матери? Томас Мэлони Чендлер; или лучше: Т. Мэлони Чендлер. Он поговорит об этом с Галлахером.

Он так увлекся этими мечтами, что прошел свою улицу и пришлось возвращаться обратно. Когда он подошел к «Корлессу», волнение с прежней силой овладело им и он в нерешительности остановился у подъезда. Наконец, он открыл дверь и вошел.

Свет и шум ресторана на минуту остановили его в дверях. Он посмотрел вокруг, но в глазах у

него рябило от блеска красных и зеленых бокалов. Ему показалось, что ресторан переполнен и все смотрят на него с любопытством. Он быстро взглянул направо и налево (слегка хмурясь, словно пришел по важному делу), но когда немного освоился, увидел, что никто даже не обернулся; а вон там, прислонившись к стойке и широко расставив колени, сидел и сам Игнатий Галлахер.

— Хэлло, Томми, старый вояка, присаживайся! Что будем пить? Чего твоя душа просит? Я пью виски: такого и в Лондоне не достанешь. С содовой? Или с сельтерской? Не любишь минеральную? Я тоже. Портит букет... Пожалуйста, гарсон, будьте добры, принесите виски, две маленькие. Ну, как ты преуспевал все это время, с тех пор как мы не виделись? Боже милостивый, как мы стареем! Очень заметно, что я уже старик, а? Побелело и поредело на макушке — а?

Игнатий Галлахер снял шляпу и показал большую, коротко остриженную голову. Лицо у него было массивное, бледное и гладко выбритое. Аспидно-синие глаза, подчеркивая нездоровую бледность, ярко поблескивали над оранжевым галстуком. Между этими двумя контрастирующими пятнами губы казались очень длинными, бесформенными и бесцветными. Он наклонил

голову и двумя пальцами жалостливо потрогал редеющие волосы. Крошка Чендлер протестующе покачал головой. Игнатий Галлахер снова надел шляпу.

— Измотаешься, — сказал он. — Что такое жизнь журналиста? Вечная спешка и гонка, вечно ищи материал, а иногда так и не найдешь; а потом вечная погоня за чем-нибудь новеньким. Ну я и решил на несколько дней послать гранки и наборщиков к черту. А уж до чего же я рад, что попал на родное пепелище! Надо же когда-нибудь и отдохнуть. Я как-то сразу ожил, как только очутился в милом грязном Дублине… Ну вот, Томми, пей. Воды? Скажи, когда довольно.

Крошка Чендлер дал сильно разбавить свой виски.

— Пользы ты своей, юноша, не знаешь, — сказал Игнатий Галлахер. — Я чистый пью.

— Я обычно пью очень мало, — скромно сказал Крошка Чендлер. — Изредка маленькую или две, когда встретишься с кем-нибудь из старой компании; вот и все.

— Ну, — весело сказал Игнатий Галлахер, — выпьем за нас, за старые времена и за старую дружбу.

Они чокнулись и выпили.

— Я сегодня видел кое-кого из старой шатии, — сказал Игнатий Галлахер. — О'Хара что-то мне не понравился. Что он делает?

— Ничего, — сказал Крошка Чендлер. — Он совсем опустился.

— Хогэн как будто хорошо пристроился?

— Да, он служит в Земельном комитете[39].

— Я как-то встретил его в Лондоне, он, по-видимому, процветает… Бедный О'Хара! Спился, вероятно?

— Не только, — сухо сказал Крошка Чендлер.

Игнатий Галлахер засмеялся.

— Томми, — сказал он, — ты ни на йоту не изменился. Ты все тот же серьезный юноша, который, бывало, читал мне нотации каждое воскресное утро, пока я валялся с головной болью и обложенным языком. Тебе бы надо немного пошататься по свету. Неужели ты ни разу никуда не ездил?

— Я был на острове Мэн, — сказал Крошка Чендлер.

Игнатий Галлахер засмеялся.

— Остров Мэн! — сказал он. — Поезжай в Лон-

---

[39] notes: 39

Организация, возникшая в связи с деятельностью Ирландской Земельной лиги, целью которой была ликвидация лендлордизма, возвращение земли ирландскому крестьянству и борьба за гомруль. Однако в комитете процветало взяточничество, поэтому место там считалось весьма доходным.

дон или в Париж, лучше в Париж. Это пойдет тебе на пользу.

— Ты был в Париже?

— Еще бы! Я там повеселился на славу.

— А Париж правда такой красивый, как говорят? — спросил Крошка Чендлер.

Он отпил из своего стакана, а Игнатий Галлахер залпом осушил свой до дна.

— Красивый? — сказал Игнатий Галлахер медленно, смакуя букет своего виски. — Не такой уж он красивый, понимаешь. Нет, конечно, красивый. Но главное — это тамошняя жизнь, вот что. Нет города, равного Парижу по веселью, шуму, развлечениям…

Крошка Чендлер допил свой стакан и не без труда поймал взгляд бармена. Он заказал еще виски.

— Я был в Мулен-Руж, — продолжал Игнатий Галлахер, когда бармен убрал стаканы, — и я побывал во всех кафе Латинского квартала. Ну уж, доложу я тебе! Не для таких божьих коровок, как ты.

Крошка Чендлер молчал; бармен скоро вернулся с двумя стаканами; тогда он дотронулся своим стаканом до стакана своего друга и повторил его тост. Он начинал испытывать легкое разочаро-

вание. Тон Галлахера и его манера выражаться не нравились ему. Было что-то вульгарное в его друге, чего он раньше не замечал. Но возможно, что это просто оттого, что он живет в Лондоне, среди газетной толчеи и грызни. Прежнее обаяние чувствовалось под новой, развязной манерой держаться. И как-никак Галлахер пожил, он повидал свет. Крошка Чендлер с завистью посмотрел на своего друга.

— В Париже всем весело, — сказал Игнатий Галлахер. — Там умеют наслаждаться жизнью, и что же, скажешь, это нехорошо? Если хочешь пожить по-настоящему, надо ехать в Париж. И знаешь, парижане прекрасно относятся к ирландцам. Когда они узнали, что я ирландец, они меня чуть не задушили, да, да.

Крошка Чендлер вновь отпил из своего стакана.

— Скажи-ка, — начал он, — Париж в самом деле такой безнравственный город, как о нем говорят?

Игнатий Галлахер величественно поднял правую руку.

— Все города безнравственны, — сказал он. — Конечно, в Париже можно увидеть довольно пикантные вещи. Вот, например, на студенче-

ских танцульках. Есть на что посмотреть, когда курочки разойдутся. Ты, надеюсь, понимаешь, о ком я говорю?

— Я слышал о них, — сказал Крошка Чендлер.

Игнатий Галлахер допил свой виски и покачал головой.

— Да, — сказал он, — что ни говори, а нет другой такой женщины, как парижанка, — по остроумию, по шику.

— Значит, это безнравственный город, — сказал Крошка Чендлер с робкой настойчивостью, — я хочу сказать, по сравнению с Лондоном или с Дублином.

— Лондон! — сказал Игнатий Галлахер. — Никакого сравнения. Спроси Хогэна, дорогой мой. Я немножко просветил его по части Лондона, когда он приезжал. Он открыл бы тебе глаза… Послушай, Томми, что ты все прихлебываешь, это тебе не пунш, пей сразу.

— Нет, право…

— Да брось, ничего с тобой не сделается. Что закажем? Опять того же?

— Ну… давай.

— Francois, еще по стаканчику… Закурим, Томми. — Игнатий Галлахер вытащил портсигар. Оба друга закурили и молча пыхтели сигарами, пока

им не подали виски.

— Я скажу тебе свое мнение, — сказал Игнатий Галлахер, вынырнув, наконец, из облака дыма, за которым он скрывался, — мы живем в странном мире. Где уж тут нравственность. Я слыхал о таких случаях, да что я говорю — слыхал, я знаю о таких… случаях…

Игнатий Галлахер задумчиво попыхтел сигарой и затем ровным эпическим тоном принялся набрасывать перед своим другом картины разврата, царящего за границей. Он перечислил пороки нескольких столиц и, по-видимому, склонялся к тому, чтобы присудить пальму первенства Берлину. Были вещи, за которые он не мог поручиться (он только слыхал о них), но многое он знал по собственному опыту. Он не пощадил ни чина, ни звания. Он разоблачил тайны европейских монастырей, описал нравы, бытующие в высшем обществе, и закончил тем, что рассказал со всеми подробностями скандальную историю про одну английскую герцогиню, причем подтвердил, что история эта достоверна. Крошка Чендлер был очень удивлен.

— Да, — сказал Игнатий Галлахер, — здесь, в нашем старом, захолустном Дублине, про такие вещи и не слыхивали.

— Тебе, должно быть, показалось очень скучно у нас, — сказал Крошка Чендлер, — после всего того, что ты видел!

— Знаешь, — сказал Игнатий Галлахер, — для меня это отдых — побывать здесь. Ну, а потом, ведь это же родное гнездо, как говорится. Что бы там ни было, а нельзя не любить его. Такова человеческая природа… Но расскажи мне о себе. Хогэн сказал мне, что ты… познал радости Гименея. Уже два года, кажется?

Крошка Чендлер покраснел и улыбнулся.

— Да, — сказал он. — В мае был год, как я женился.

— Позволь мне от души поздравить тебя, — сказал Игнатий Галлахер. — Лучше поздно, чем никогда. Я не знал твоего адреса, а то бы я сделал это вовремя.

Он протянул руку, и Крошка Чендлер пожал ее.

— Желаю тебе, — сказал Галлахер, — и твоему семейству всяческих благ, и кучу денег, и чтобы ты жил до тех пор, пока я сам не застрелю тебя. И это, милый мой Томми, желает тебе искренний друг твой, старый друг. Ты это знаешь?

— Знаю, — сказал Крошка Чендлер.

— И детишки есть? — сказал Игнатий Галла-

хер.

Крошка Чендлер опять покраснел.

— У нас один ребенок, — сказал он.

— Сын или дочь?

— Мальчик.

Игнатий Галлахер звонко хлопнул своего друга по спине.

— Молодец, — сказал он, — да я и не сомневался в тебе, Томми.

Крошка Чендлер улыбнулся и смущенно посмотрел в свой стакан, закусив нижнюю губу тремя по-детски белыми зубами.

— Надеюсь, ты зайдешь к нам вечерком, до отъезда. Жена будет тебе очень рада. Можно помузицировать… и…

— Большое спасибо, милый, — сказал Игнатий Галлахер. — Очень жаль, что мы не встретились раньше. Но я завтра вечером должен ехать.

— Может быть, сегодня…

— Мне очень жаль, дорогой. Видишь, я здесь не один, со мной приехал приятель, очень интересный молодой человек, так вот мы сговорились пойти в картишки поиграть. А то бы…

— Ну конечно, я понимаю…

— А кто знает? — раздумчиво сказал Игнатий Галлахер. — Теперь, когда лед сломан, может

быть, я в будущем году опять прикачу к вам. Отсрочка не испортит удовольствия.

— Отлично, — сказал Крошка Чендлер, — в твой следующий приезд ты придешь к нам на весь вечер. Непременно, да?

— Непременно, — сказал Игнатий Галлахер, — если только я приеду в будущем году, то parole d'honneur![40]

— А чтобы скрепить наш договор, — сказал Крошка Чендлер, — выпьем еще по одной.

Игнатий Галлахер вытащил большие золотые часы и посмотрел на стрелки.

— Если только последнюю, — сказал он. — Потому что, видишь ли, меня ждут.

— И в самом деле, последнюю, — сказал Крошка Чендлер.

— Ну, хорошо, — сказал Игнатий Галлахер, — в таком случае выпьем еще по одной deoc an doruis[41] — так, кажется, в народе говорят?

Крошка Чендлер заказал виски. Краска, несколько минут назад выступившая на его щеках, теперь заливала все лицо. Он всегда легко краснел; а сейчас он разогрелся и был слегка

---

[40] notes: 40
Честное слово *(франц.)*.

[41] notes: 41
На посошок *(ирл.)*.

возбужден. Три стакана виски ударили ему в голову, а крепкая сигара Галлахера отуманила мозг, так как он был хрупкого здоровья и всегда очень воздержан. Встретиться с Галлахером после восьмилетней разлуки, сидеть с Галлахером у «Корлесса», в ярком свете и шуме, слушать рассказы Галлахера, участвовать, хоть недолго, в кочевой и блистательной жизни Галлахера было для него приключением, нарушившим равновесие его чувствительной натуры. Он остро ощущал контраст между жизнью друга и своей собственной и находил, что это несправедливо: Галлахер стоял ниже его по рождению и воспитанию. Он был уверен, что мог бы делать кое-что получше, чего его другу никогда не сделать, что-нибудь более высокое, чем вульгарная журналистика, если бы только подвернулся случай. Что преграждало ему путь? Его злосчастная робость? Ему хотелось как-нибудь отомстить за себя, поддержать свое мужское достоинство. Он по-своему толковал отказ, которым Галлахер ответил на его приглашение. Галлахер просто удостаивал его своей дружбой, как он удостоил Ирландию своим посещением.

Бармен принес виски. Крошка Чендлер подвинул один стакан своему другу и бойко поднял

другой.

— Кто знает? — сказал он после того, как они чокнулись. — В будущем году, когда ты приедешь, может быть, я буду иметь удовольствие пожелать счастья мистеру и миссис Галлахер.

Игнатий Галлахер, глотая виски, выразительно прищурил один глаз над краем стакана. Когда он кончил пить, он решительно причмокнул, поставил стакан на стол и сказал:

— И не воображай, дорогой мой! Сначала я перебешусь и поживу в свое удовольствие, а уж потом полезу в ярмо, если я вообще это сделаю.

— Когда-нибудь сделаешь, — спокойно сказал Крошка Чендлер.

Оранжевый галстук и аспидно-синие глаза Игнатия Галлахера повернулись к его другу.

— Ты так думаешь? — сказал он.

— Ты полезешь в ярмо, — уверенно повторил Крошка Чендлер, — как все, если только сумеешь найти подходящую девушку.

Он сказал это слегка вызывающим тоном и почувствовал, что выдал себя; но, хотя румянец сгустился на его щеках, он выдержал пристальный взгляд друга. Игнатий Галлахер с минуту смотрел ему в лицо и затем сказал:

— Если это когда-нибудь случится, можешь по-

ставить свой последний шиллинг, дело обойдется без сантиментов. Я женюсь только на деньгах. Или у нее будет кругленький текущий счет в банке, или — слуга покорный.

Крошка Чендлер покачал головой.

— Ты что, человече, думаешь? — с горячностью сказал Игнатий Галлахер. — Стоит мне только слово сказать, и завтра же у меня будут и баба и деньги. Не веришь? Но я-то знаю, что это так. Есть сотни — что я говорю, — тысячи богатых евреек и немок, просто лопаются от денег, которым только мигнуть… Подожди, дружок. Увидишь, как я это дело обломаю. Уж если я за что возьмусь — ошибки не будет, не сомневайся. Подожди — увидишь.

Он порывисто поднес стакан ко рту, допил виски и громко рассмеялся. Потом он задумчиво устремил взгляд в пространство и сказал более спокойным тоном:

— Но я не спешу. Пусть они подождут. И я не собираюсь связывать себя с одной женщиной.

Он сделал движение губами, словно пробуя что-то, и скорчил гримасу.

— Вот надоест, тогда, — сказал он.

Крошка Чендлер сидел с ребенком на руках в комнате возле прихожей. Ради экономии они не

держали прислуги, и Моника, младшая сестра Энни, приходила на часок по утрам и на часок по вечерам помочь по хозяйству. Но Моника давно ушла домой. Было без четверти девять. Крошка Чендлер опоздал к чаю и, кроме того, забыл принести Энни кофе от Бьюли[42]. Разумеется, она надулась и почти не разговаривала с ним. Она сказала, что обойдется без чая, но как только подошло время, когда лавка на углу закрывалась, она решила отправиться сама за четвертушкой чая и двумя фунтами сахара. Она ловко положила ему на руки спящего ребенка и сказала:

— Держи. Только не разбуди его.

На столе горела маленькая лампа с белым фарфоровым абажуром, и свет падал на фотографическую карточку в роговой рамке. Это была фотография Энни. Крошка Чендлер посмотрел на нее, остановив взгляд на тонких сжатых губах. На ней была бледно-голубая блузка, которую он принес ей в подарок как-то в субботу вечером. Она стоила десять шиллингов и одиннадцать пенсов; но сколько мучительного волнения она ему стоила! Как он терзался, когда ждал у дверей магазина, чтобы магазин опустел, когда стоял у

[42] notes: 42
Магазин в Дублине.

прилавка, стараясь казаться непринужденным, а продавщица раскладывала перед ним дамские блузки, когда платил в кассу и забыл взять сдачу, когда кассир позвал его обратно и, наконец, когда, выходя из магазина, проверил, крепко ли завязан сверток, чтобы скрыть покрасневшее лицо! Вернувшись домой, он отдал блузку Энни, и та поцеловала его и сказала, что блузка очень славная и элегантная, но, услыхав цену, бросила блузку на стол и сказала, что брать за это десять шиллингов и одиннадцать пенсов — чистый грабеж. Сначала она хотела нести ее обратно, но, когда померила, пришла в восторг, особенно от покроя рукава, поцеловала его и сказала, какой он милый, что подумал о ней.

— Гм!..

Он холодно смотрел в глаза фотографии, и они холодно отвечали на его взгляд. Несомненно, они были красивы, и само лицо тоже было красивое. Но в нем было что-то пошлое. Почему оно такое неодухотворенное и жеманное? Невозмутимость взгляда раздражала его. Глаза отталкивали его и бросали вызов: в них не было ни страсти, ни порыва. Он вспомнил, что говорил Галлахер о богатых еврейках. Темные восточные глаза, думал он, сколько в них страсти, чувственного томле-

ния… Почему он связал свою судьбу с глазами на этой фотографии?

Он поймал себя на этой мысли и испуганно оглядел комнату. Красивая мебель, которую он купил в рассрочку, когда обставлял свою квартиру, тоже показалась ему довольно пошлой. Энни сама ее выбирала, и она напомнила ему жену. Мебель тоже была красивая и чопорная. Тупая обида на свою жизнь проснулась в нем. Неужели он не сможет вырваться из этой тесной квартирки? Разве поздно начать новую жизнь, смелую, какой живет Галлахер? Неужели он не сможет уехать в Лондон? За мебель все еще не выплачено. Если бы он мог написать книгу и напечатать ее, перед ним открылись бы иные возможности.

Томик стихов Байрона лежал на столе. Он осторожно, чтобы не разбудить ребенка, открыл книгу левой рукой и начал читать первую строфу:

Стих ветерок… не тронет тишь ночную;
Зефир в лесах не шевелит листы,
Я на могилу вновь иду родную,
Я Маргарите вновь несу цветы.

Он остановился. Он ощутил, что весь воздух в

комнате наполнен стихами. Сколько меланхолии в них! Сможет ли он тоже так писать, выразить в стихах меланхолию своей души? Многое ему хотелось описать: вот хотя бы свое ощущение сегодня днем на Грэттенском мосту. Если бы он мог вернуть то настроение…

Ребенок проснулся и заплакал. Он оторвался от книги и начал успокаивать его; но ребенок не замолкал. Крошка Чендлер принялся качать его, но плач ребенка стал еще пронзительней. Он качал его все сильней, между тем как глаза его читали вторую строфу:

Там прах ее печальный холодеет,
А жизнь давно ль[43]…

Все напрасно. Читать нельзя. Ничего нельзя. Плач ребенка сверлил ему уши. Все напрасно! Он пленник на всю жизнь. Руки его дрожали от злости, и, внезапно наклонившись над личиком ребенка, он закричал:

— Замолчи!

Ребенок на секунду смолк, оцепенев от испуга, и снова заплакал. Крошка Чендлер вскочил со

[43] notes: 43

Строчки из юношеского стихотворения Байрона «На смерть молодой леди, кузины автора, очень дорогой ему» (1802). Перевод С. Ильина.

стула и с ребенком на руках стал быстро ходить взад и вперед по комнате. Ребенок захлебывался от безудержного плача, он на секунду замолкал, а потом с новой силой начинал кричать. Тонкие стены сотрясались от крика ребенка. Он пытался унять его, но плач ребенка становился все судорожнее. Он посмотрел на искаженное и дрожащее личико и встревожился. Ребенок закатился семь раз подряд, и Крошка Чендлер в испуге прижал его к груди. А вдруг он умрет!..

Дверь с шумом распахнулась, и молодая женщина, запыхавшись, вбежала в комнату.

— Что такое? Что такое? — закричала она.

Ребенок, услыхав голос матери, испустил истерический вопль.

— Ничего, ничего, Энни… ничего… он заплакал…

Она бросила покупки на пол и выхватила у него ребенка.

— Что ты ему сделал? — крикнула она, впиваясь в него глазами.

Крошка Чендлер с секунду выдержал ее взгляд, и сердце его сжалось, когда он прочел в нем ненависть. Он начал, заикаясь:

— Да ничего… Он… заплакал… Я не мог… Я ничего ему не сделал… Что?

Не обращая на него внимания, она начала ходить взад и вперед по комнате, крепко прижимая к себе ребенка и тихо приговаривая:

— Маленький мой! Родной! Испугали тебя, солнышко?.. Ну, ну, деточка! Ну, ну… золотко. Мамино золотко любимое! Ну, ну…

Крошка Чендлер почувствовал, что краска стыда заливает его щеки, и ушел подальше от света лампы. Он стоял и слушал, между тем как плач ребенка становился все тише и тише; и слезы раскаяния выступили на его глазах.

Личины
Перевод Е. Д. Калашниковой

Разъяренно задребезжал звонок, и, когда мисс Паркер сняла трубку, разъяренный голос выкрикнул с пронзительным североирландским акцентом:

— Пошлите ко мне Фэррингтона!

Мисс Паркер, возвращаясь к своей машинке, сказала человеку, согнувшемуся над столом:

— Мистер Олейн требует вас наверх.

Человек пробормотал вполголоса: «Черт его подери!» — и отодвинул стул, чтобы встать. Он был высокого роста и плотный. Одутловатое лицо цвета темного вина, белесые усы и брови; глаза слегка навыкате и мутные белки. Он поднял створку барьера и, пройдя мимо клиентов, тяжелым шагом вышел из конторы.

Тяжело ступая, он поднялся по лестнице до площадки второго этажа, где на двери была медная дощечка с надписью: «М-р Олейн». Остановился, пыхтя от усталости и раздражения, постучал. Резкий голос крикнул:

— Войдите!

Он вошел в кабинет мистера Олейна. В ту же минуту мистер Олейн, маленький человечек в золотых очках на чисто выбритом лице, вскинул голову над грудой документов. Вся голова была такая розовая и безволосая, что напоминала большое яйцо, покоящееся на бумагах. Мистер Олейн не стал терять времени:

— Фэррингтон? Это еще что? Долго мне придется делать вам замечания? Можно узнать, почему вы не сняли копию с договора Бодли и Кирвана? Я же вам сказал, что она мне нужна к четырем!

— Но мистер Шелли говорил, сэр…

– *Мистер Шелли говорил, сэр…* Потрудитесь слушать, что я вам говорю, а не что *мистер Шелли говорит,* сэр. Вы всегда найдете предлог увильнуть от работы. Имейте в виду — если к концу дня копия не будет готова, я сообщу об этом мистеру Кросби… Понятно?

— Да, сэр.

— Понятно?.. Да, и вот еще что. С вами говорить все равно что со стенкой. Раз навсегда запомните: на завтрак вам полагается полчаса, а не полтора. Сколько блюд вы заказываете, хотел бы я знать… Теперь понятно?

— Да, сэр.

Мистер Олейн снова наклонил голову над гру-

дой документов. Человек пристально смотрел на глянцевитый череп, вершивший дела фирмы «Кросби и Олейн», и определял его прочность. Приступ бешенства на миг сдавил ему горло, потом прошел, оставив после себя острое ощущение жажды. Человек уже знал, что вечером надо будет как следует выпить. Скоро конец месяца, и, если он вовремя сделает копию, может случиться, что мистер Олейн даст ему ордер в кассу. Он стоял неподвижно, пристально вглядываясь в склоненную над грудой бумаг голову. Вдруг мистер Олейн стал ворошить бумаги, что-то отыскивая. Потом, словно только что заметив присутствие человека, он снова вскинул голову и сказал:

— Ну? Вы что, собираетесь целый день так простоять? Честное слово, Фэррингтон, вам все нипочем.

— Я хотел дождаться…

— Вы и дождетесь рано или поздно. Идите вниз и принимайтесь за работу.

Человек тяжело пошел к двери, и, выходя из комнаты, он еще раз услышал, как мистер Олейн прокричал ему вслед, что, если копия контракта не будет готова к вечеру, он доложит мистеру Кросби. Он вернулся на свое место в конторе нижнего этажа и сосчитал, сколько страниц еще

осталось переписать. Он взял перо, обмакнул его в чернильницу, но продолжал тупо, не мигая, смотреть на последние написанные им слова: *«Вслучае, если бы означенный Бернард Бодли был…»* Становилось темно; через несколько минут зажгут газ, тогда можно будет писать. Он чувствовал непреодолимую потребность утолить жажду. Он встал и, опять приподняв створку, вышел из конторы. Когда он выходил, управляющий конторой вопросительно посмотрел на него.

— Не беспокойтесь, мистер Шелли, — сказал он, показывая пальцем, куда идет.

Управляющий конторой покосился на вешалку, но, видя, что все шляпы на своих местах, ничего не сказал. На лестничной площадке человек вытащил из кармана клетчатую кепку, надел ее и быстро сбежал по шатким ступеням. От парадного он крадущимся шагом пошел к углу, все время держась у самой стены, и наконец нырнул в какую-то дверь. Здесь, в потемках отдельного кабинета заведения О'Нейля, его никто не увидит, и, просунув воспаленное, цвета темного вина или темного мяса, лицо в окошечко, выходившее в бар, он крикнул:

— Эй, Пат, дай-ка сюда кружечку портера, будь другом.

Бармен принес ему стакан портеру безо всего. Человек залпом осушил его и спросил тминного семени[44]. Потом положил на прилавок монету и, предоставив официанту на ощупь отыскивать ее в темноте, все тем же крадущимся шажком выбрался из отдельного кабинета.

Тьма и густой туман овладели февральскими сумерками, и на Юстейс-Стрит зажглись фонари. Человек шел вдоль самых стен к дверям конторы, прикидывая, сумеет ли он вовремя закончить копию договора. На лестнице в нос ему ударил пряный резкий запах духов: очевидно, пока он был у О'Нейля, пришла мисс Делакур. Он снова засунул в карман свою кепку и с напускной беспечностью вошел в контору.

— Мистер Олейн спрашивал вас, — строго сказал управляющий. — Где вы были?

Человек покосился на двух клиентов, стоявших у барьера, словно намекая, что их присутствие мешает ему ответить. Управляющий хмыкнул — ведь клиенты были мужчины.

— Знаю я эти штуки, — сказал он. — Пять раз на дню, не слишком ли... Ну ладно, не теряйте времени и подберите для мистера Олейна всю

---

[44] notes: 44
Тминное семя отбивает запах спиртного.

нашу переписку по делу Делакур.

От этого выговора в присутствии посторонних, быстрого подъема по лестнице и наспех проглоченного портера у человека мутилось в голове, и, садясь за свою конторку, чтобы достать нужные бумаги, он понял, что нечего и надеяться закончить копию договора к половине шестого. Наступал сырой темный вечер, и его тянуло провести его в баре, выпивая с друзьями при ярком свете газа, под звон стаканов. Он достал папку с делом Делакур и вышел из конторы. Он надеялся, что, может быть, мистер Олейн не заметит отсутствия последних двух писем.

Пряный резкий запах стоял на всем пути к кабинету мистера Олейна. Мисс Делакур была немолодой еврейкой. Говорили, что мистер Олейн неравнодушен к ней или к ее деньгам. Она часто приходила в контору и, когда приходила, оставалась подолгу. Сейчас она сидела у его письменного стола в облаке духов, гладя ручку своего зонтика и кивая большим черным пером на шляпе. Мистер Олейн повернул свое вращающееся кресло так, чтобы видеть ее, и развязно закинул ногу на ногу. Человек положил папку на стол и почтительно поклонился, но ни мистер Олейн, ни мисс Делакур не обратили никакого внима-

ния на его поклон. Мистер Олейн побарабанил пальцем по папке и затем ткнул в его сторону, как бы говоря: хорошо, можете идти.

Он вернулся в нижний этаж и снова сел за свою конторку. Он напряженно, не мигая, смотрел на недописанную фразу: «*Вслучае, если бы означенный Бернард Бодли был….*» — и думал о том, как странно, что три последних слова начинаются с одной и той же буквы. Управляющий конторой стал торопить мисс Паркер, говоря, что она не успеет перепечатать все письма до отправки почты. Несколько минут человек прислушивался к стрекоту машинки, потом принялся переписывать копию договора. Но голова у него была тяжелая, и мысли убегали к яркому свету и шуму пивной. В такой вечер хорошо пить горячий пунш. Он продолжал возиться с копией, но, когда часы пробили пять, ему оставалось еще четырнадцать страниц. К черту! Все равно не кончить вовремя. Ему захотелось выругаться вслух, стукнуть изо всей силы кулаком по столу. Он был до того взбешен, что вместо *«Бернард Бодли»* написал *«Бернард Бернард»,* и ему пришлось заново переписать всю страницу.

Он чувствовал, что у него хватит силы одному разгромить всю контору. Тело изнывало от жела-

ния сделать что-нибудь, крушить и крошить все и вся кругом. Убожество жизни приводило его в ярость… Самому попросить кассира об авансе? Нет, от кассира ждать нечего: как же, даст он ему аванс!.. Он знал, где сейчас можно застать всех ребят: Леонарда, и О'Хэллорена, и Носастого Флинна. Его внутренний барометр предвещал бурю.

Он так погрузился в свои мысли, что только на третий раз услыхал, что его зовут. Мистер Олейн и мисс Делакур стояли у барьера, и все служащие повернулись в их сторону, ожидая, что будет. Человек встал из-за своей конторки. Мистер Олейн начал гневную тираду, указывая, что двух писем не хватает. Человек отвечал, что ничего не знает, он переписал все, что было. Тирада продолжалась: она была такой злобной и жестокой, что человек с трудом подавил в себе желание опустить кулак на голову стоявшего перед ним карлика.

— Я ничего не знаю об этих двух письмах, — тупо повторял он.

– *Вы ничего не знаете…* Ну конечно, откуда вам знать, — сказал мистер Олейн. — Послушайте-ка, — добавил он, оглянувшись в поисках одобрения на стоявшую рядом с ним даму, — вы меня за

кого считаете? Вы что, за полного дурака меня принимаете?

Человек переводил взгляд с лица дамы на маленькую яйцевидную головку и обратно; и прежде чем он успел понять, что делает, его язык воспользовался удобной минутой.

— Простите, сэр, — сказал он, — но с таким вопросом следует обращаться не ко мне.

Последовала пауза, во время которой не было слышно даже дыхания клерков. Все были потрясены (причем автор выходки не меньше остальных), а мисс Делакур, полная, приятная особа, начала широко улыбаться. Мистер Олейн сделался розовым, как шиповник, и ярость гнома искривила его рот. Он тряс кулаком перед самым носом человека с такой быстротой, что кулак, казалось, вибрировал, как головка бормашины.

— Грубиян! Нахал! Теперь-то уж вы дождетесь! Вот увидите! Вы слышали? Вон из конторы, если не извинитесь немедленно!

Он стоял в подъезде напротив конторы, поджидая кассира на случай, если он выйдет один. Все служащие уже прошли, и, наконец, показался кассир вместе с управляющим конторой. Не стоило и заговаривать с ним при управляющем. Человек понял, что дела его плохи. Ему пришлось

принести мистеру Олейну унизительные извинения за дерзость, но он знал, что с этого дня ему не будет покоя в конторе. Он хорошо помнил, как мистер Олейн травил маленького Пика, пока не выжил его из конторы: ему нужно было освободить место для своего племянника. Его мучили ненависть, жажда и желание отомстить; он был зол на себя и на весь свет. Мистер Олейн не даст ему теперь проходу; его жизнь сделается сущим адом. Порядочного дурака он свалял на этот раз. И кто только тянул его за язык? Впрочем, с самого начала у него с мистером Олейном не клеилось, особенно после того случая, когда мистер Олейн услыхал, как он передразнивает его североирландский акцент на потеху Хиггинсу и мисс Паркер; с этого все и пошло. Может быть, Хиггинса попытать насчет денег, хотя у Хиггинса у самого никогда нет ни пенни. Когда человек содержит две семьи, где уж тут…

Опять все его большое тело заныло в тоске по уюту пивной. Туман начал пробирать его, и он подумал: может быть, у Пата в заведении О'Нейля удастся разжиться чем-нибудь? Да у него больше чем на шиллинг не разживешься — а что толку с одного шиллинга? Но ведь надо же достать денег где-нибудь: свое последнее пенни он истратил на

портер, а скоро уже будет так поздно, что денег вообще нигде не достанешь. Вдруг, перебирая пальцами цепочку от часов, он вспомнил о ломбарде Терри Келли на Флит-Стрит. Вот это мысль! Как ему раньше не пришло в голову!

Он пошел по узкому переулку Темпл Бар, бормоча себе под нос, что теперь все они могут провалиться, потому что уж вечерок-то он проведет в свое удовольствие. Приемщик у Терри Келли сказал: «Крона!», но оценщик согласился только на шесть шиллингов; и в конце концов ему отсчитали шесть шиллингов. Он вышел из ломбарда довольный, зажав сложенные столбиком монеты между большим и указательным пальцами. На Уэстморленд-Стрит тротуары были запружены молодыми людьми и девушками, возвращавшимися после службы, и повсюду шныряли оборванные мальчишки, выкрикивая названия вечерних газет. Человек пробирался в толпе, гордо посматривая по сторонам и бросая победоносные взгляды на конторщиц и машинисток. В голосе у него шумело от трамвайных звонков и свиста роликов, а ноздри уже вдыхали пары дымящегося пунша. По дороге он обдумывал выражения, в которых расскажет всю историю приятелям:

— Ну, тут посмотрел я на него — так это, знаете, спокойно, — а потом на нее. Потом опять посмотрел на него, да так это не спеша и говорю: «Простите, сэр, но с таким вопросом следует обращаться не ко мне».

Носастый Флинн сидел на своем обычном месте в пивной Дэви Бирна, и когда Фэррингтон кончил свой рассказ, выставил ему полпинты, заявив, что это, попросту говоря, здорово; Фэррингтон в свою очередь его угостил. Немного погодя явились О'Хэллорен и Пэдди Леонард, и пришлось им рассказать все сначала. О'Хэллорен выставил на всех горячего виски и рассказал, как он однажды срезал управляющего конторой, когда служил у Кэллена на Фаунз-Стрит; но по его рассказу получалось, что ответ был вполне вежливым, и он вынужден признать, что ответ Фэррингтона куда хлеще. Тут Фэррингтон сказал ребятам, что пора посмотреть на донышки и начать сначала.

Только каждый стал выбирать себе яд по вкусу, вдруг входит не кто иной, как Хиггинс. Само собой, ему пришлось примкнуть к их компании. Его попросили со своей стороны рассказать, как было дело, и он это исполнил очень живо, так как зрелище пяти порций горячего виски привело его в отличное настроение. Все так и покатились

с хохоту, когда он изобразил, как мистер Олейн тряс кулаком перед носом Фэррингтона. Потом он представил и Фэррингтона, говоря: *«И тут наш герой этак спокойно...»* — а Фэррингтон обводил всех своим тяжелым, мутным взглядом, улыбаясь и время от времени обсасывая нижней губой усы, в которых висели капли виски.

Когда и на этот раз стаканы опустели, наступило молчание. У О'Хэллорена были деньги, но у двух других ничего, по-видимому, не осталось; и вся компания не без сожаления покинула пивную. На углу Дьюк-Стрит Хиггинс и Носастый Флинн свернули налево, а трое остальных пошли назад, к центру города. Дождь моросил на холодных улицах, и, когда они дошли до Балласт-оффис[45], Фэррингтон предложил завернуть в Шотландский бар. Там было полно народу и в воздухе стоял звон голосов и стаканов. Все трое протолкались мимо продавцов спичек, которые попрошайничали у дверей, и расположились компанией у одного конца стойки. Стали рассказывать анекдоты. Леонард познакомил их с молодым человеком по фамилии Уэзерс, высту-

---

[45] notes: 45
Учреждение, организующее работу Дублинской гавани.

павшим в «Тиволи»[46] акробатом, эксцентриком, певцом — всем понемногу, а Фэррингтон выставил угощение на всю братию. Уэзерс сказал, что выпьет рюмку ирландского виски с аполлинарисом[47]. Фэррингтон, который до тонкости знал, как надо себя вести, спросил ребят, не желает ли и еще кто аполлинариса, но ребята сказали Тиму, чтобы принес горяченького. Разговор перешел на театр. Разок выставил угощение О'Хэллорен, потом опять Фэррингтон, хотя Уэзерс возражал, утверждая, что они чересчур уж по-ирландски гостеприимны. Он пообещал провести их за кулисы и познакомить с хорошенькими девушками. О'Хэллорен сказал, что они с Леонардом пойдут, а Фэррингтон не пойдет, потому что он человек женатый; а Фэррингтон покосился на всю компанию тяжелыми, мутными глазами, давая понять, что он понимает шутку. Уэзерс заставил всех пропустить по стаканчику за его счет и пообещал встретиться с ними попозже у Мэллигена на Пулбег-Стрит.

Когда Шотландский бар закрылся, они переко-

---

[46] notes: 46

Театр в Дублине, названный в честь каскада водопадов в Италии на реке Аниене, притоке Тибра.

[47] notes: 47

Шипучая минеральная вода.

чевали к Мэллигену. Они сразу прошли в заднюю комнату, и О'Хэллорен спросил горячего пунша на всех. Они уже были немного навеселе. Фэррингтон только было собрался выставить угощение, когда явился Уэзерс. К большому облегчению Фэррингтона, он спросил только рюмку горького. Денежки уплывали, но пока еще можно было держаться. Вдруг вошли две молодые женщины в больших шляпах и молодой человек в клетчатом костюме и сели за соседний столик. Уэзерс поклонился им и сказал своим собутыльникам, что вся эта компания из «Тиволи». Глаза Фэррингтона то и дело возвращались к одной из молодых женщин. В ее внешности было что-то привлекающее внимание. Длинный шарф из переливающейся синей кисеи был обвит вокруг ее шляпы и завязан у подбородка большим бантом; ярко-желтые перчатки доходили до локтя. Фэррингтон с восхищением глядел на полные плечи, которыми она весьма вызывающе поводила; а когда немного спустя она ответила на его взгляд, ее большие темно-карие глаза привели его в полное восхищение. Ее манера смотреть, пристально и чуть искоса, действовала на него завораживающе. Она поглядела на него еще раз или два, а выходя со своими спутниками из комнаты, задела его стул

и сказала с лондонским акцентом: «О, pardon». Он смотрел ей вслед, надеясь, что она обернется, но она не обернулась. Он проклинал свою бедность и проклинал себя за угощение, выставленное им в этот вечер, и в особенности за виски с аполлинарисом, которым он угощал Уэзерса. Если он кого ненавидел в эту минуту, так это любителей выпить за чужой счет. Он был так зол, что перестал слушать, о чем говорят его друзья.

Пэдди Леонард обратился к нему; оказалось, что речь идет об атлетических рекордах. Уэзерс показывал компании свои бицепсы и до того расхвастался, что Фэррингтона призвали для поддержания национальной чести. Фэррингтон засучил рукава и тоже показал свои бицепсы. Мускулы обоих подверглись тщательному осмотру и сравнению, и в конце концов было решено устроить состязание в силе. Очистили стол, и противники, сцепив руки, уперлись в него локтями. По знаку Пэдди Леонарда каждый должен был постараться пригнуть руку другого к столу. Вид у Фэррингтона был очень серьезный и решительный.

Состязание началось. Секунд через тридцать Уэзерс медленно пригнул к столу руку противника. Багровое лицо Фэррингтона побагровело

еще больше от злости и стыда, что такой щенок его одолел.

— Нельзя наваливаться всем телом. Соблюдайте правила, — сказал он.

— Кто это не соблюдает правил? — сказал Уэзерс.

— Давайте сначала. Кто выиграет два раза из трех.

Состязание началось снова. У Фэррингтона вздулись на лбу вены, а лицо Уэзерса из бледного стало как пион. Руки и пальцы у обоих дрожали от напряжения. После долгой борьбы Уэзерс снова медленно пригнул руку своего противника к столу. Среди зрителей прошел ропот одобрения. Бармен, стоявший у самого стола, кивнул победителю рыжей головой и сказал с дурацкой ухмылкой:

— Ого! Вот это здорово!

— А тебе что? — злобно обернулся к нему Фэррингтон. — Какого черта суешься не в свое дело?

— Шш, шш, — сказал О'Хэллорен, заметив свирепое выражение на лице Фэррингтона. — Пора закругляться, ребятки. Пропустим еще по одной — и домой.

Угрюмого вида человек стоял у О'Коннел-Бридж, дожидаясь сэндимаунтского трамвая.

В нем кипела затаенная злоба и желание отомстить. Он чувствовал досаду и унижение, он даже не был пьян, в кармане у него оставалось только два пенса. Он проклинал все на свете. Он нажил неприятности в конторе, заложил часы, истратил все деньги и даже не напился как следует. Он снова почувствовал жажду, и ему томительно захотелось очутиться опять в душной, прокуренной пивной. Его репутация силача погибла после того, как его два раза подряд одолел какой-то мальчишка. Его сердце переполнила ярость, а когда он вспомнил о женщине в большой шляпе, которая задела его, проходя, и сказала «pardon», ярость едва не задушила его.

Трамвай довез его до Шелбурн-Роуд, и он потащил свое грузное тело вдоль казарменной стены. Возвращаться домой было отвратительно. Войдя с черного хода, он увидел, что в кухне никого нет и огонь в плите почти погас. Он заорал:

— Ада! Ада!

Его жена была маленькая женщина с востреньким личиком, которая изводила мужа, когда он был трезв, и которую изводил он сам, когда он был пьян. У них было пятеро детей. С лестницы бегом спустился маленький мальчик.

— Кто там? — спросил отец, вглядываясь в

темноту.

— Я, папа.

— Кто это «я»? Чарли?

— Нет, папа, Том.

— А мать где?

— Она в церкви.

— Вот как… А обед? Она оставила мне обед?

— Да, папа. Я…

— Зажги лампу. Чего вы тут торчите впотьмах! А остальные где, спят?

Человек тяжело опустился на стул, мальчик зажег лампу. Человек стал передразнивать интонацию сына, бормоча вполголоса: «В церкви… В церкви, скажите пожалуйста». Когда лампа, наконец, была зажжена, он стукнул кулаком по столу и заорал:

— Ну, где же обед?

— Я сейчас… сейчас приготовлю, папа, — сказал мальчик.

Отец подскочил от ярости и ткнул пальцем в сторону плиты:

— На таком огне? Да у тебя все прогорело! Ну постой, я тебе покажу, как упускать огонь.

Он шагнул к двери и схватил трость, стоявшую в углу.

— Ты у меня будешь знать, как упускать огонь!

— сказал он, засучивая рукав, чтоб тот не мешал ему.

Мальчик вскрикнул: «Папа!» — и с плачем бросился бежать вокруг стола, но человек погнался за ним и схватил за полу куртки. Мальчик дико озирался по сторонам, но, видя, что спастись некуда, упал на колени.

— Другой раз не станешь упускать огонь, — закричал отец и с силой ударил его тростью. — Вот тебе, щенок!

Мальчик взвизгнул от боли, трость полоснула его по бедру. Он сжал руки, и голос у него дрожал от страха.

— Папа! — кричал он. — Не бей меня, папа! Я… я помолюсь за тебя… Я Святую Деву попрошу, папа, только не бей меня… Я Святую Деву попрошу…

Земля
Перевод Е. Д. Калашниковой

Старшая разрешила ей уйти, как только женщины напьются чаю, и Мария заранее радовалась свободному вечеру. В кухне все так и блестело; кухарка говорила, что в большие медные котлы можно смотреться вместо зеркала. В печи, славно поблескивая, горел огонь, а на одном из боковых столов лежали четыре огромных сладких пирога. Издали они казались ненарезанными; но вблизи видно было, что они аккуратно нарезаны толстыми длинными ломтями и их можно прямо подавать к чаю. Мария сама нарезала их.

Роста Мария была очень-очень маленького, но у нее был очень длинный нос и очень длинный подбородок. Говорила она слегка в нос и казалось, что она всегда успокаивает кого-то: «Да, моя хорошая», «Нет, моя хорошая». Всегда за ней посылали, если женщины ссорились из-за корыт, и всегда ей удавалось водворить мир. Старшая как-то раз сказала ей:

— Вы у нас настоящий миротворец, Мария.

И эту похвалу слышали кастелянша и две да-

мы-попечительницы. А Джинджер Муни всегда говорила, что глухонемой, которая подавала утюги, не поздоровилось бы, если б не Мария. Все любили Марию.

Чай будет в шесть часов, и еще до семи она сможет уйти. От Боллсбриджа до Колонны Нельсона — двадцать минут, от Колонны до Драмкондры двадцать минут, и двадцать минут на покупки. К восьми часам она попадет туда. Она вынула свой кошелек с серебряным замочком и еще раз прочла надпись: «Привет из Белфаста». Она очень любила этот кошелек, потому что его привез Джо пять лет тому назад, когда вместе с Олфи ездил на Духов день в Белфаст[48]. В кошельке лежали две полукроны и несколько медяков. После трамвая останется чистых пять шиллингов. Как славно они проведут вечер — дети все будут петь хором! Только бы Джо не пришел домой пьяным. Он совсем на себя не похож, когда выпьет.

Не раз он просил ее переехать к ним и жить вместе с ними; но она боялась их стеснить (хотя жена Джо всегда так хорошо к ней относилась), и потом, она привыкла уже к своей жизни в прачечной. Джо славный малый, Мария вынянчила

---

[48] notes: 48
Пригород Дублина.

их, и его и Олфи; Джо, бывало, так и говорит:

— Мама мамой, но моя настоящая мать — это Мария.

Когда семья распалась, мальчики подыскали ей это место в прачечной «Вечерний Дублин», и оно ей понравилось. Прежде она была очень дурного мнения о протестантах[49], но теперь увидела, что это очень славные люди, немножко, пожалуй, чересчур тихие и серьезные, но очень славные, и жить с ними легко. И потом, у нее здесь свои растения в теплице, и она любила ухаживать за ними. У нее был чудесный папоротник и восковые деревья, и, если кто приходил ее навестить, она непременно дарила гостю два-три ростка из своей теплицы. Единственное, чего она не любила, это душеспасительные брошюрки, которые всюду попадались на глаза, но зато со старшей было так приятно иметь дело, она была как настоящая леди.

Кухарка сказала ей, что все готово, она пошла в столовую и принялась звонить в большой колокол. Через несколько минут, по двое, по трое, стали собираться женщины, вытирая распаренные ладони об юбки и спуская рукава на

---

[49] notes: 49

Прачечная «Вечерний Дублин» существовала на субсидии от протестантских организаций.

красные распаренные руки. Они усаживались перед огромными кружками, в которые кухарка и глухонемая наливали из огромных оловянных чайников горячий чай, уже сладкий и с молоком. Мария распоряжалась дележкой пирога и следила, чтобы каждая женщина получила свои четыре ломтя. За едой было много смеха и шуток. Лиззи Флеминг сказала, что уж наверно Марии достанется кольцо, и, хотя Флеминг говорила это каждый год в Канун Дня Всех Святых, Мария робко улыбнулась и сказала, что вовсе ей не надо никакого кольца, да и мужа не надо[50], и когда она смеялась, ее серо-синие глаза искрились от позабытых надежд, а кончик носа почти касался кончика подбородка. Потом Джинджер Муни подняла свою кружку с чаем и предложила выпить за здоровье Марии, сказав при этом, что лучше бы по такому случаю выпить глоток портеру, а все остальные стучали кружками по столу. И Мария опять так смеялась, что кончик ее носа почти касался кончика подбородка, и вся ее маленькая

[50] notes: 50

Сладкий пирог, который пекут в Канун Дня Всех Святых, 31 октября, нередко используют при гадании; тогда в него запекают кольцо и орех. У кого в кусочке окажется кольцо, тот вскоре должен сочетаться браком; у кого — орех, тот свяжет свою судьбу со вдовцом или вдовицей, а если орех окажется пустым, то девушка останется старой девой, а юноша холостяком.

фигурка так и тряслась от смеха, потому что она знала, что Муни хотела как лучше, хотя, конечно, она простая, необразованная женщина.

Но как же Мария была рада, когда женщины выпили чай и кухарка с глухонемой стали собирать посуду. Она пошла в свою комнатку и, вспомнив, что завтра с утра надо идти к ранней мессе, перевела стрелку будильника с семи на шесть. Потом она сняла рабочую юбку и домашние ботинки и разложила на постели свою самую лучшую юбку, а рядом на полу поставила крохотные выходные ботинки. Кофточку она тоже надела другую; она стояла перед зеркалом, ей вспомнилось, как, бывало, еще молодой девушкой, она по воскресеньям наряжалась к мессе, и она со странной нежностью посмотрела на маленькую фигурку, которую так любила когда-то украшать. Несмотря на возраст, это все еще была премилая аккуратненькая фигурка.

Когда она вышла на улицу, тротуары блестели от дождя, и она порадовалась, что надела свой старенький коричневый плащ. В трамвае было тесно, и ей пришлось сидеть на маленькой откидной скамеечке в конце вагона, и ноги ее едва доставали до полу. Она прикидывала в уме, что ей нужно было сейчас сделать, и думала о том, как

хорошо ни от кого не зависеть и иметь собственные деньги. Уж конечно, они славно проведут вечер. Иначе и быть не может, вот только одно — жалко, что Олфи и Джо не разговаривают друг с другом. Они теперь вечно ссорятся, а ведь как дружно жили мальчиками; но уж такова жизнь.

У Колонны она вышла из трамвая и стала проворно пробираться в толпе. Она отправилась в кондитерскую Даунза, но в кондитерской было столько народа, что ей пришлось довольно долго дожидаться своей очереди. Она купила десяток пирожных, по пенни штука, и наконец выбралась из кондитерской с большим бумажным пакетом. Потом она задумалась, что бы еще купить; ей хотелось чего-нибудь повкуснее. Яблок и орехов у них, наверно, и так вдосталь. Нелегкая была задача — придумать, что купить, и ей так ничего и не пришло в голову, кроме кекса. Она решила купить кекс с коринкой, но у Даунза на кексах было мало засахаренного миндаля, и она пошла в другую кондитерскую, на Генри-Стрит. Здесь она долго не могла ни на чем остановиться, и нарядная молодая барышня за прилавком, видимо начиная терять терпение, спросила, уж не свадебный ли пирог она выбирает. Тут Мария покраснела и улыбнулась девушке, но девушка

не расположена была шутить — она отрезала большой кусок кекса с коринкой, завернула его в бумагу и сказала:

— Два шиллинга четыре пенса, пожалуйста.

В трамвае она думала, что ей придется простоять всю дорогу до Драмкондры, потому что никто из молодых людей, казалось, не замечал ее, но один пожилой джентльмен подвинулся и уступил ей место. Джентльмен был довольно полный, в коричневом котелке; у него было квадратное красное лицо и усы с проседью. Мария решила, что он похож на полковника, и подумала: насколько он вежливее молодых людей, которые сидят себе не поворачивая головы. Джентльмен завел с ней разговор о Кануне Дня Всех Святых, о дождливой погоде. Он высказал догадку, что в пакете у нее вкусные вещи для малышей, и сказал, что так оно и должно быть: когда ж и повеселиться, если не в молодости. Мария соглашалась с ним, одобрительно поддакивая и кивая головой. Он был очень мил с ней, и, выходя у моста через канал, она поблагодарила его и поклонилась, и он тоже поклонился и приподнял шляпу с приятной улыбкой; и, когда она шла по набережной, пригнув свою крохотную головку под дождем, она думала о том, что джентльмена всегда с первого

взгляда видно, даже если он чуточку подвыпил.

Когда она вошла в дом Джо, все закричали: «А вот и Мария!» Сам Джо был уже дома, только что вернулся с работы, а дети все нарядились по-праздничному. Пришли еще две девушки из соседнего дома, и веселье было в полном разгаре. Мария дала пакет с пирожными Олфи, старшему мальчику, чтобы он роздал всем, и миссис Доннелли сказала, что она слишком их балует — столько пирожных сразу, — и заставила всех детей сказать:

— Спасибо, Мария!

Но Мария сказала, что она еще принесла отдельно кое-что для папы и мамы, кое-что такое, что им, наверно, понравится, и принялась искать свой кекс с коринкой. Она заглянула в пакет из-под пирожных, потом в карманы своего плаща, потом на вешалку, но кекса нигде не было. Потом она спросила детей, не съел ли его кто-нибудь из них, — разумеется, по ошибке! — но дети все ответили «нет» и надулись, словно желая сказать, что раз их обвиняют в воровстве, не надо им никаких пирожных. Каждый объяснял загадку по-своему, а миссис Доннелли сказала, что скорее всего Мария оставила кекс в трамвае. Вспомнив, как ее смутил джентльмен с седыми усами, Ма-

рия покраснела от стыда, досады и огорчения. При мысли о своем неудавшемся сюрпризе и о выброшенных зря двух шиллингах и четырех пенсах она чуть не расплакалась.

Но Джо сказал, что это все пустяки, и усадил ее у огня. Он был очень мил с ней. Он говорил обо всем, что делается в конторе, и рассказал, как ловко он на днях отбрил управляющего. Мария не поняла, чему Джо так смеется, но сказала, что, должно быть, управляющий человек очень властный и с ним трудно иметь дело. Джо сказал, что он не так уж плох, нужно только знать, как к нему подойти, и что он даже совсем ничего, пока его не погладят против шерстки. Миссис Доннелли села за пианино, и дети танцевали и пели. Потом соседские девушки обносили всех орехами. Никто не мог найти щипцы, и Джо чуть было не рассердился и спрашивал, что прикажут Марии делать с орехами, если ей не дали щипцов. Но Мария сказала, что она не любит орехов и что не стоит беспокоиться из-за нее. Потом Джо спросил, не выпьет ли она пива, а миссис Доннелли сказала, что в доме найдется и портвейн, если она предпочитает вино. Мария сказала, что, право же, ничего не будет пить, но Джо настаивал.

Марии пришлось уступить, а потом они сидели

у огня, вспоминая доброе старое время, и Мария решила, что, пожалуй, можно замолвить словечко за Олфи. Но Джо стал кричать, что пусть покарает его господь, если он согласится еще хоть раз взглянуть на своего брата, и Мария сказала, что, верно, зря она об этом заговорила. Миссис Доннелли заметила мужу, что стыдно так говорить о родном брате, но Джо сказал, что Олфи ему не брат, и дело чуть не кончилось ссорой. Но Джо сказал, что не такой сегодня вечер, чтоб сердиться, и попросил жену откупорить еще бутылку пива. Девушки затеяли обычные в Канун Дня Всех Святых игры, и скоро всем опять стало весело. Мария радовалась, что дети такие веселые, а Джо и его жена в таком хорошем настроении. Соседские девушки расставили на столе несколько блюдец и, завязав детям глаза, стали по очереди подводить их к столу. Одному достался молитвенник, троим — вода; а когда одной из соседских девушек досталось кольцо, миссис Доннелли погрозила закрасневшейся девушке пальцем, словно говоря: «Да, да, нам кое-что известно»[51].

---

[51] notes: 51

Традиционный обряд гадания в Канун Дня Всех Святых. Гадающие с завязанными глазами дотрагивались до разложенных на столе предметов: молитвенник означал монашескую участь, кольцо — свадьбу, вода — долгую жизнь, земля — смерть. В XIX веке земля, как наиболее мрачный символ, в гадании чаще всего не использовалась.

Тут все закричали, что нужно и Марии завязать глаза и пусть она подойдет к столу — интересно, что ей достанется; пока ей затягивали повязку, Мария все смеялась и смеялась так, что кончик ее носа почти касался кончика подбородка.

Под общий смех и шутки ее подвели к столу, и она протянула вперед руку, как ей сказали. Она поводила рукой в воздухе и наконец опустила ее на одно из блюдец. Она почувствовала под пальцами что-то сырое и рыхлое и удивилась, что все молчат и никто не снимает с нее повязку. Несколько секунд было тихо; потом поднялась возня и перешептывания. Кто-то упомянул про сад, и наконец миссис Доннелли очень сердито сказала что-то одной из девушек и велела ей немедленно выбросить это вон; такими вещами не шутят. Мария поняла, что вышло что-то не то; поэтому пришлось проделать все сначала, и теперь ей достался молитвенник.

Потом миссис Доннелли заиграла рилу[52], а Джо заставил Марию выпить рюмку вина. Скоро всем опять стало весело, и миссис Доннелли сказала, что Марии в этом году суждено уйти в

[52] notes: 52

Быстрый хороводный танец шотландских горцев, вариант контрданса. Был весьма популярен в кругу ирландского среднего класса в начале века.

монастырь, потому что ей достался молитвенник. Мария не помнила, чтобы Джо когда-нибудь был так мил с ней, как в этот вечер, так ласково с ней разговаривал, столько вспоминал о прошлом. Она сказала, что они слишком добры к ней.

Под конец дети устали и захотели спать, и Джо спросил Марию, не споет ли она им что-нибудь перед уходом, какую-нибудь старую песенку. Миссис Доннелли сказала: «Да, да, Мария, пожалуйста», и Марии пришлось встать и подойти к пианино. Миссис Доннелли приказала детям не шуметь и слушать Марию. Потом она сыграла вступление и сказала: «Ну, Мария?» — и Мария, вся вспыхнув, запела тоненьким, дрожащим голоском. Она пела «Мне снилось, что я в чертогах живу»[53], но, дойдя до второго куплета, начала снова:

Мне снилось, что я в чертогах живу,
Окруженный рабов толпой,
И средь верных вассалов своих слыву
Надеждой страны родной.
Без счету богатств у меня, мой род
Славным именем горд своим,

---

[53] notes: 53
Популярная ария из оперы М. У. Балфа «Цыганочка».

Но лучше всего – мне снилось еще,
Что тобой я, как прежде, любим.

Но никто не указал ей ее ошибку; а когда она кончила, Джо был очень растроган. Что бы там ни говорили, сказал он, а в старину жили лучше, и музыки нет лучше, чем добрый старый Балф; слезы застлали ему глаза, и он никак не мог найти того, что искал, и потому спросил жену, где штопор.

Несчастный случай
Перевод Н. Л. Дарузес

Мистер Джеймс Даффи жил в Чепелизоде[54] потому, что хотел жить возможно дальше от города, гражданином которого он был, и потому, что все другие пригороды Дублина казались ему вульгарными, претенциозными и слишком современными. Он жил в мрачном старом доме, и из окон ему видны были заброшенный винокуренный завод и берега мелководной речки, на которой стоит Дублин. На полу его высокой комнаты не было ковра, а на стенах не висело ни одной картины. Он сам приобрел каждый предмет обстановки: черную железную кровать, железный умывальник, четыре плетеных стула, вешалку, ящик для угля, каминные щипцы с решеткой и квадратный стол с двойным пюпитром. Книжный шкаф заменяла ниша с белыми деревянными полками. Кровать была застлана белым покрывалом, в ногах ее лежал черный с красным плед. Маленькое ручное зеркальце висело над

---

[54] notes: 54
По преданию, в Чепелизоде Тристан виделся с Изольдой.

умывальником, и днем на камине стояла лампа с белым абажуром — единственное украшение комнаты. Книги на белых деревянных полках были расставлены по росту. На одном конце самой нижней полки стояло полное собрание сочинений Вордсворта, а на противоположном конце верхней — экземпляр «Мэйнутского катехизиса»[55] в коленкоровом переплете от записной книжки. На пюпитре всегда лежали письменные принадлежности. В ящике хранились рукописный перевод пьесы Гауптмана «Микаэл Крамер»[56] с ремарками, сделанными красными чернилами, и небольшая стопка листков, сколотых бронзовой скрепкой. На этих листках время от времени появлялась какая-нибудь фраза; в минуту иронического настроения на первый листок была наклеена реклама пилюль от печени. Из-под крышки пюпитра, если ее приподнять, исходил еле слышный запах — не то новых карандашей из кедрового дерева, не то клея или перезрелого яблока, которое положили

---

[55] notes: 55

В г. Мэйнуте расположен католический центр Ирландии.

[56] notes: 56

Пьеса немецкого драматурга, романиста, поэта Герхарта Гауптмана (1862–1946). Центральный конфликт «Микаэла Крамера» — творческая личность и филистерская среда, неспособная понять художника и губящая его.

там и забыли.

Мистер Даффи питал отвращение к любому проявлению физического или духовного беспорядка. Средневековый ученый сказал бы, что он родился под знаком Сатурна[57] (из-за отсутствия мистера Леверетта) было произведено следствие по поводу миссис Эмили Синико, сорока трех лет, погибшей вчера вечером на станции Сидни-Парейд. Из показаний выяснилось, что покойная, пытаясь перейти через рельсы, была сбита с ног паровозом десятичасового пассажирского поезда, шедшего из Кингстауна, и получила тяжкие повреждения головы и правого бока, приведшие к смерти.

Машинист Джеймс Леннен показал, что служит в железнодорожной компании с пятнадцати лет.

---

[57] notes: 57

Средневековые ученые-астрологи считали важным расположение светил в момент рождения человека: от этого зависели его характер и дальнейшая судьба. По их представлениям, под знаком Сатурна рождались мрачные, недобрые люди.. Лицо мистера Даффи, на котором отпечатались прожитые годы, напоминало своим коричневым цветом дублинские улицы. Длинная, довольно крупная голова поросла сухими черными волосами, рыжеватые усы едва скрывали неприятное выражение рта. Выступающие скулы также придавали его лицу жесткое выражение; но жесткости не было в глазах, которые глядели на мир из-под рыжеватых бровей с таким выражением, точно их обладатель всегда рад встретить в других людях что-нибудь искупающее их недостатки, но часто разочаровывается. Он смотрел на себя со стороны, следя за собственными поступками косым, недоверчивым взглядом. У него была странная склонность, доставлявшая ему особое удовольствие, время от времени сочинять мысленно короткие фразы о

самом себе, с подлежащим в третьем лице и сказуемым в прошедшем времени. Он никогда не подавал милостыни и ходил твердым шагом, опираясь на крепкую ореховую трость.

Он уже много лет служил кассиром в частном банке на Бэггот-Стрит. Каждое утро он приезжал из Чепелизода на трамвае. В полдень шел к Дэну Бэрку завтракать — брал бутылку пива и тарелочку аррорутового печенья. В четыре часа он уходил со службы. Он обедал в столовой на Джордж-Стрит, где можно было не опасаться встреч с дублинской «золотой молодежью» и где кормили вполне прилично. Вечера он проводил или за пианино своей квартирной хозяйки, или бродя по окрестностям города. Любовь к Моцарту приводила его иногда в оперу или на концерт — это было единственным развлечением в его жизни.

Знакомые, друзья, философские системы, вера — все это было чуждо ему. Он жил своей внутренней жизнью, ни с кем не общаясь, навещая родственников на рождество и провожая их на кладбище, когда они умирали. Он отбывал эти две повинности в угоду старым традициям, но не уступал больше ни на йоту тем условностям, которые управляют общественной жизнью. Он допускал мысль, что при известных обстоятельствах мог бы даже ограбить банк, но так как эти обстоятельства не складывались, жизнь его текла размеренно — повесть без событий.

Однажды вечером в Ротонде[Здание круглой формы в Дублине на Ратленд-Сквер, в котором были расположены театр и концертный зал. он оказался рядом с двумя дамами. Тишина и пустота в зале уныло предвещали провал. Дама подле него в кресле раза два оглянулась на пустой зал и заметила:

— Какая жалость, что сегодня мало публики! Так неприятно петь перед пустым залом.

Он принял эти слова за приглашение к разговору. Его удивило, что она держится так свободно. Беседуя с ней, он старался запечатлеть в памяти ее черты. Узнав, что девушка, сидящая рядом с ней, — ее дочь, он подумал, что эта дама, должно быть, на год или на два моложе его. Ее лицо, когда-то, вероятно, красивое, до сих пор сохранило живость. Это

было продолговатое лицо с резко выраженными чертами. Темно-синие глаза смотрели пристально. Ее взгляд поначалу казался вызывающим, но вдруг зрачок расширялся и в нем проглядывала легко ранимая душа. Но вот зрачок становился маленьким, и показавшаяся было душа пряталась в скорлупу благоразумия, и каракулевая жакетка, облегавшая довольно пышную грудь, еще более подчеркивала этот вызов.

Через несколько недель он снова встретил ее в концерте на Эрлсфорт-Террес; когда дочь засмотрелась на кого-то, он улучил минуту, чтобы познакомиться ближе. Раза два она вскользь упомянула о своем муже, но в ее тоне не слышалось предостережения. Ее звали миссис Синико. Прапрадед ее мужа происходил из Ливорно. Ее муж был капитаном торгового судна, курсировавшего между Дублином и Голландией; у них был только один ребенок.

Когда он в третий раз встретил ее случайно, у него достало смелости назначить свидание. Она пришла. Это была первая встреча, за которой последовало много других, они встречались всегда по вечерам и выбирали для совместных прогулок самые тихие улицы. Но эта таинственность была противна мистеру Даффи, и когда он понял, что они могут видеться только потихоньку, попросил пригласить себя в дом. Капитан Синико поощрял его визиты, думая, что он собирается сделать предложение дочери. Он совершенно исключил жену из разряда интересных женщин и считал невозможным, что кто-нибудь может ею заинтересоваться. Муж часто бывал в отъезде, а дочь уходила на уроки музыки, мистеру Даффи представлялось много случаев бывать в обществе миссис Синико. Ни у него, ни у нее до сих пор не было приключений, и оба они не видели в этом ничего дурного. Постепенно он стал делиться с нею своими мыслями. Он давал ей книги, излагал свои идеи, впустил ее в свой мир. Она была безгранично рада.

Иногда, в ответ на его отвлеченные рассуждения, она рассказывала какой-нибудь случай из своей жизни. С почти материнской заботливостью она побуждала его раскрыть душу: она стала его исповедником. Он рассказал ей, что некоторое время ходил на собрания ирландской

социалистической партии, где чувствовал себя чужим среди степенных рабочих, в каморке, освещенной тусклой керосиновой лампой. Когда партия раскололась на три фракции, каждая со своим лидером и в своей каморке, он перестал бывать на собраниях. Дискуссии рабочих были, на его взгляд, слишком примитивными, а их интерес к вопросу о заработной плате казался ему чрезмерным. Он чувствовал, что это грубые материалисты, они не умели четко излагать свои мысли: эта способность была результатом досуга, им недоступного. Социальная революция, говорил он, едва ли произойдет в Дублине и через двести — триста лет.

Она спросила, почему он не записывает свои мысли. Зачем? — ответил он с деланным пренебрежением. Чтобы соперничать с пустословами, неспособными мыслить последовательно в течение шестидесяти секунд? Чтобы подвергаться нападкам тупых мещан, которые вверяют свою мораль полицейскому, а искусство — антрепренеру?

Он часто бывал в ее маленьком коттедже под Дублином; часто они проводили вечера вдвоем. По мере того как между ними росла духовная близость, они переходили к разговорам на более интимные темы. Ее общество было как парниковая земля для тропического растения. Много раз она сидела с ним до темноты, подолгу не зажигая лампы. Темная, тихая комната, уединение, музыка, все еще звучавшая в ушах, сближали их. Это сближение воодушевляло его, сглаживало острые углы характера, обогащало эмоциями его внутреннюю жизнь. Иногда он ловил себя на том, что слушает звуки собственного голоса. Он думал, что в ее глазах возвысился чуть ли не до ангельского чина, и, по мере того как он все больше и больше привлекал к себе свою пылкую по натуре подругу, странный, безличный голос, в котором он узнавал свой собственный, все настойчивее твердил о неисцелимом одиночестве души. Мы не можем отдавать себя, говорил этот голос, мы принадлежим только себе. Беседы эти кончились тем, что однажды вечером, когда миссис Синико, судя по всему, была в необычайном возбуждении, она страстно схватила его руку и прижала к своей щеке.

Мистер Даффи был крайне изумлен. Такое толкование его слов разрушило все его иллюзии. Он не ходил к ней неделю, потом написал ей, прося разрешения встретиться. Так как он не желал, чтобы их последнее свидание тревожила мысль о разрушенной исповедальне, они встретились в маленькой кондитерской у ворот Феникс-Парка. Стояла холодная осенняя погода, но, несмотря на холод, они три часа бродили по дорожкам. Они решили не встречаться больше: всякий союз, сказал он, сулит горе. Выйдя из парка, они молча пошли к трамваю; но тут она начала сильно дрожать, и он, боясь новой вспышки с ее стороны, поспешил откланяться и оставил ее. Через несколько дней он получил пакет со своими книгами и нотами.

Прошло четыре года. Мистер Даффи вернулся к размеренному образу жизни. Его комната по-прежнему свидетельствовала о любви к порядку. Новые ноты появились на пюпитре в комнате первого этажа, а на книжную полку встали два тома Ницше: «Так говорил Заратустра» и «Радостная наука». Теперь он редко писал что-нибудь на листках, лежащих в ящике. Одна фраза, написанная через два месяца после прощального свидания с миссис Синико, гласила: «Любовь между мужчиной и мужчиной невозможна потому, что физическое влечение недопустимо; дружба между мужчиной и женщиной невозможна потому, что физическое влечение неизбежно». Он перестал ходить на концерты, боясь встретиться с ней. Его отец умер; младший компаньон банка вышел из дела. Но по-прежнему каждое утро мистер Даффи приезжал в город на трамвае и каждый вечер возвращался из города пешком, скромно пообедав на Джордж-Стрит и прочитав на десерт вечернюю газету.

Однажды вечером, когда он только что поднес ко рту кусок солонины с капустой, рука его замерла. Его взгляд вдруг упал на одну из заметок в вечерней газете, которую он читал, прислоня к графину. Он положил кусок на тарелку и внимательно прочел заметку. Потом выпил стакан воды, отодвинул тарелку в сторону, развернул газету на столе между расставленными локтями и несколько раз перечитал заметку с начала

до конца. Капуста на тарелке подернулась белой пленкой застывшего жира. Официантка подошла к нему спросить, вкусный ли обед. Он сказал, что обед очень вкусный, и с трудом проглотил два-три куска. Потом заплатил по счету и вышел.

Он быстро шагал в ноябрьских сумерках, крепкая ореховая трость мерно постукивала по тротуару, желтоватый уголок «Мейл» выглядывал из кармана узкого двубортного пальто. На безлюдной дороге между воротами Феникс-Парка и Чепелизодом он замедлил шаг. Его трость ударяла о тротуар уже не так звучно, и его неровное, похожее на вздох, дыхание стыло в морозном воздухе. Добравшись до дома, он сразу прошел в спальню и, вынув из кармана газету, еще раз перечел заметку в слабеющем свете у окна. Он читал ее не вслух, но шевелил при этом губами, как священник, читающий особые молитвы.

Вот что было в заметке:

«СМЕРТЬ ЖЕНЩИНЫ НА СИДНИ-ПАРЕЙД

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Сегодня в дублинской городской больнице заместителем коронера[Должностное лицо при органах местного самоуправления графства, разбирает дела о насильственной или внезапной смерти при сомнительных обстоятельствах.

По свистку кондуктора он отправил поезд и через секунду или две остановил его, услышав громкие крики. Поезд шел медленно.

Носильщик П. Дэнн показал, что, когда поезд трогался со станции, он заметил женщину, пытавшуюся перейти пути. Он бросился к ней и окликнул, но не успел добежать, как ее ударило буфером паровоза, и она упала.

Присяжный. — Вы видели, как эта дама упала?

Свидетель. — Да.

Сержант полиции Кроули заявил, что, прибыв на место происшествия, он нашел покойную на перроне, без признаков жизни. Он распорядился, чтобы тело до прибытия санитарной кареты перенесли в зал ожидания. Констебль, бляха номер пятьдесят семь, подтвердил сказанное.

Доктор Холпин, хирург дублинской городской больницы, показал, что у покойной был обнаружен перелом двух нижних ребер и серьезные ушибы правого плеча. Правая сторона головы повреждена при падении. Однако эти повреждения не могли вызвать смерть у человека в нормальном состоянии. Смерть, по его мнению, произошла вследствие шока и резкого упадка сердечной деятельности.

Мистер Х. Б. Пэттерсон Финлей от имени желез-

нодорожной компании выразил глубокое сожаление по поводу несчастного случая. Компания всегда принимала меры к тому, чтобы публика переходила пути только по мосту, вывешивая с этой целью на каждой станции указатели, а также ставя у каждого переезда автоматические шлагбаумы. Покойная имела привычку поздно вечером переходить пути, и, принимая во внимание некоторые обстоятельства дела, он не считает железнодорожных служащих виновными.

Супруг покойной, капитан Синико, проживающий в Леовилле, Сидни-Парейд, также дал показания. Он подтвердил, что покойная действительно его жена. Во время происшествия его не было в Дублине, так как он только сегодня утром вернулся из Роттердама. Они были женаты двадцать два года и жили счастливо до тех пор, пока, года два тому назад, его жена не пристрастилась к спиртному.

Мисс Мэри Синико сообщила, что в последнее время ее мать обычно выходила по вечерам из дому купить вино. Свидетельница нередко пыталась воздействовать на мать и уговаривала ее вступить в общество трезвости. Она вернулась домой только через час после происшествия.

Основываясь на показаниях врача, присяжные

вынесли приговор, согласно которому с Леннена снимается всякая ответственность.

Заместитель коронера заявил, что в его практике это один из самых трагических несчастных случаев, и выразил свое глубочайшее соболезнование капитану Синико и его дочери. Он рекомендовал компании принять самые решительные меры во избежание подобных происшествий в будущем. В данном случае виновных не было».

Мистер Даффи поднял глаза от газеты и посмотрел в окно на безрадостный вечерний пейзаж. Река спокойно текла мимо заброшенного винного завода, и время от времени в каком-нибудь из домов на Дьюкенской дороге загорался свет. Какой конец! Весь рассказ о ее смерти возмущал его, возмущала мысль, что когда-то он говорил с ней о том, что было для него самым святым. Его тошнило от избитых фраз, пустых слов сочувствия, осторожных слов репортера, которого уговорили скрыть подробности заурядной и вульгарной смерти. Мало того, что она унизила себя — она унизила его. Он представил себе весь позорный путь ее порока, отвратительного и отталкивающего. И это подруга его души! Ему вспоминались несчастные, которые, пошатываясь, бредут с пустыми бутылками и кувшинами к бару. Боже

правый, какой конец! Очевидно, она была не приспособлена к жизни, бесхарактерна и безвольна, легко становилась жертвой привычки — одна из тех жертв, на чьих костях строится цивилизация. Но как могла она пасть так низко? Как мог он так обмануться в ней? Он вспомнил ее порыв в тот памятный вечер и на этот раз осудил его гораздо резче. Теперь он был совершенно убежден, что он поступил правильно.

Темнело, мысли его блуждали, и вдруг ему показалось, что она прикоснулась к его руке. Потрясение, вызвавшее сначала тошноту, теперь вызвало дрожь. Он быстро надел пальто и шляпу и вышел. Холодный ветер обдал его на пороге, забирался в рукава пальто. Дойдя до бара у Чепелизод-Бридж, он вошел и заказал горячий пунш.

Хозяин угодливо прислуживал ему, но не решался вступить в разговор. В баре сидело человек пять-шесть рабочих, споривших о стоимости какого-то поместья в графстве Килдер. Они прихлебывали из огромных кружек, курили, то и дело сплевывали на пол и своими тяжелыми сапогами втирали плевки в опилки. Мистер Даффи смотрел на них, ничего не видя и не слыша. Скоро они ушли, а он спросил второй стакан пунша. Он долго сидел за ним. В баре было очень тихо.

Хозяин прислонился к стойке и, зевая, читал «Геральд». Иногда слышался шум трамвая на безлюдной дороге.

Так он сидел, вспоминая дни, проведенные с ней, и ее, такую разную, теперь он твердо знал, что ее больше нет, что она перестала существовать, превратилась в воспоминание. Ему стало не по себе. Он спрашивал себя, мог ли поступить иначе? Он не мог бы притворяться дольше; не мог бы жить с нею открыто. Он поступил так, как ему казалось лучше. В чем же его вина? Теперь, когда она умерла, он понял, как одиноко ей, верно, было долгими вечерами в той комнате. Его жизнь тоже будет одинока до тех пор, пока и он не умрет, не перестанет существовать, не превратится в воспоминание — если только кто-нибудь о нем вспомнит.

Был уже десятый час, когда он вышел из бара. Ночь была холодная и мрачная. Он вошел в Феникс-Парк через ближайшие ворота и стал ходить под облетевшими деревьями. Он бродил по угрюмым аллеям, где они бродили четыре года тому назад. Она, казалось, идет рядом с ним в темноте. Временами ему слышался ее голос, чудилось прикосновение ее руки. Он замер, прислушиваясь. Зачем он отнял у нее жизнь? Зачем

он приговорил ее к смерти? Его стройный, правильный мир рушился.

Дойдя до вершины Мэгезин-Хилл, он остановился и стал смотреть на реку, текущую к Дублину, огни которого светились тепло и гостеприимно в холоде ночи. Он посмотрел вниз и у подножья холма, в тени ограды парка, увидел лежащие темные фигуры. Эта греховная и потаенная любовь наполнила его отчаянием. Он ненавидел нравственные устои, он чувствовал себя изгнанным с праздника жизни. Одно существо полюбило его; а он отказал ей в жизни и счастье; он приговорил ее к позору, к постыдной смерти. Он знал, что простертые внизу у ограды существа наблюдают за ним и хотят, чтобы он ушел. Он никому не нужен: он изгнан с праздника жизни. Он перевел взгляд на серую поблескивающую реку, которая текла, извиваясь, к Дублину. За рекой он увидел товарный поезд, выползавший со станции Кингз-Бридж, словно червяк с огненной головой, ползущий сквозь тьму упорно и медленно. Поезд медленно скрылся из виду, но еще долго стук колес повторял ее имя.

Он свернул на дорогу, по которой пришел; мерный шум поезда все еще раздавался в ушах. Он начал сомневаться в реальности того, о чем гово-

рила ему память. Он остановился под деревом и стоял до тех пор, пока мерный шум не замер. Во мраке он уже не чувствовал ее, и голос ее больше не тревожил. Он подождал несколько минут, прислушиваясь. Он ничего не слышал, ночь была совершенно нема. Он прислушался снова: ничего. Он был совсем один.

В день плюща[58]
Перевод Н. Л. Дарузес

Старый Джек сгреб золу куском картона и старательно разбросал ее поверх груды побелевших углей. Когда груду углей прикрыл тонкий слой золы, лицо старика погрузилось во тьму, но как только он начал раздувать огонь, сгорбленная тень выросла позади на стене, и лицо вновь выступило из мрака. Это было старческое лицо, очень худое, заросшее волосами. Слезящиеся от огня голубые глаза мигали, и он без конца жевал слюнявым, беззубым ртом. Угли занялись, он прислонил картон к стене, вздохнул и сказал:

— Так-то лучше, мистер О'Коннор.

Мистер О'Коннор, седеющий господин, лицо которого безобразило множество угрей и прыщей, только что скрутил папироску, но, услышав обращение, задумчиво раскрутил ее. Потом он снова начал свертывать папироску и после минутного раздумья лизнул бумажку.

---

[58] notes: 58

6 октября, годовщина смерти Чарльза Стюарта Парнелла. Сторонники Парнелла, оставшиеся верными его памяти, в этот день носили в петлице листок плюща. Зеленый цвет — национальный цвет Ирландии.

— Мистер Тирни не говорил, когда вернется? — спросил он хриплым фальцетом.

— Нет, не говорил.

Мистер О'Коннор сунул папиросу в рот и начал шарить по карманам. Он извлек пачку тоненьких карточек.

— Я вам дам спичку, — сказал старик.

— Не трудитесь, все в порядке, — сказал мистер О'Коннор. Он достал одну карточку и прочел:

«Муниципальные выборы.

Район Королевской биржи.

Мистер Ричард Дж. Тирни, П. С. Б.[59], покорнейше просит Вас предоставить ему Ваш голос и Ваше содействие на предстоящих выборах в районе Королевской биржи»[60].

Мистер О'Коннор был нанят агентом мистера Тирни для обхода избирателей в одном из участков квартала, но погода была ненастная, ботинки

---

[59] notes: 59

Попечитель совета бедных. В соответствии с Законом о бедных, который действовал с 1834 по 1948 год, были учреждены работные дома с жестким режимом, куда помещались бедняки, обращавшиеся за помощью. Закон на местах осуществляли попечители, пользовавшиеся чаще всего дурной славой среди бедных.

[60] notes: 60

Королевская биржа расположена около Замка, который, в свою очередь, находится в самом центре Дублина, на правом берегу Лиффи, и является административным центром Ирландии. Это резиденция лорд-наместника, назначаемого английским правительством.

у него промокали, и потому он просиживал большую часть дня у камина в штабе комитета на Уиклоу-Стрит вместе со старым Джеком, который сторожил помещение. Они сидели здесь с тех пор, как начало смеркаться. Было 6 октября, холодный сумрачный день.

Мистер О'Коннор оторвал полоску от карточки, зажег и прикурил от нее. Пламя осветило темный и глянцевитый листок плюща у него в петлице. Старик внимательно посмотрел на него, потом снова взял картон и принялся медленно раздувать огонь, его собеседник курил.

— Да, да, — сказал он, продолжая разговор, — почем знать, как нужно воспитывать детей. Кто бы мог подумать, что он пойдет по этой дорожке. Я его отдал в школу Христианских братьев, делал для него что мог, а он вот пьянствует. Пробовал я его в люди вывести.

Он медленно поставил картон на место.

— Состарился я теперь, а то бы я ему показал. Взял бы палку да и лупил бы, покуда сил хватит — как прежде бывало. Мать, знаете ли, она его избаловала — то да се...

— Вот это и губит детей, — сказал мистер О'Коннор.

— Оно самое, — сказал старик. — И хоть бы

благодарны вам были, а то — одни дерзости. Как увидит, что я выпил рюмочку, знай начинает мной командовать. Чего ждать, когда сыновья так обращаются с отцами.

— Сколько ему лет? — спросил мистер О'Коннор.

— Девятнадцать, — ответил старик.

— Почему вы не пристроите его к делу?

— Как же, чего только я не придумывал для этого забулдыги с тех пор, как он кончил школу. «Я тебя кормить не стану, — говорю я. — Ищи себе место». А когда найдет место, еще того хуже — все пропивает.

Мистер О'Коннор сочувственно покачал головой, старик замолчал, глядя на огонь. Кто-то открыл дверь в комнату и крикнул:

— Эй! Что тут у вас, масонское собрание, что ли?

— Кто там? — спросил старик.

— Что вы тут делаете в темноте? — спросил чей-то голос.

— Это вы, Хайнс? — спросил мистер О'Коннор.

— Да. Что вы тут делаете в темноте? — сказал мистер Хайнс, вступая в полосу света.

Это был высокий, стройный молодой человек со светло-каштановыми усиками. Капельки дождя

дрожали на полях его шляпы, воротник пальто был поднят.

— Ну, Мэт, — сказал он мистеру О'Коннору, — как дела?

Мистер О'Коннор покачал головой. Старик отошел от камина и, спотыкаясь в темноте, разыскал два подсвечника, сунул их один за другим в огонь, потом поставил на стол. Оголенные стены комнаты выступили на свет, и огонь утратил свой веселый блеск. На стене проступило обращение к избирателям. Посредине стоял маленький стол, заваленный бумагами. Мистер Хайнс прислонился к камину и спросил:

— Он вам еще не заплатил?

— Еще нет, — сказал мистер О'Коннор. — Будем надеяться, что не подведет нас.

Мистер Хайнс засмеялся.

— О, этот заплатит. Бояться нечего, — сказал он.

— Надеюсь, поторопится, если он и вправду деловой человек, — сказал мистер О'Коннор.

— А вы как думаете, Джек? — с усмешкой обратился мистер Хайнс к старику.

Старик вернулся на свое место перед камином и сказал:

— Деньги-то у него есть. Он ведь не то что тот,

другой бездельник.

— Какой это другой? — спросил мистер Хайнс.

— Колген, — ответил старик презрительно.

— Вы так говорите потому, что Колген — рабочий? Чем же это трактирщик лучше честного каменщика? Разве рабочий не имеет права быть выбранным в муниципальный совет, как всякий другой, — да у него даже больше прав, чем у этих выскочек, которые рады шею гнуть перед любой шишкой. Разве не правда, Мэт? — сказал мистер Хайнс, обращаясь к мистеру О'Коннору.

— По-моему, вы правы, — сказал мистер О'Коннор.

— Простой рабочий — он без всяких хитростей. И в муниципалитете он будет представлять рабочий класс. А этот, к которому вы нанялись, только и хочет, что заполучить себе теплое местечко.

— Само собой, рабочий класс должен иметь своего представителя, — сказал старик.

— Рабочему гроша ломаного не перепадет, — сказал мистер Хайнс, — одни щелчки достаются. А труд-то — ведь это главное. Рабочий не ищет теплых местечек своим сынкам, племянничкам да братцам. Рабочий не станет втаптывать в грязь

славное имя Дублина в угоду королю немцу[61].

— Как это? — спросил старик.

— Разве вы не знаете, что они хотят поднести приветственный адрес этому королю Эдуарду, если он приедет в будущем году? С какой стати мы будем пресмыкаться перед королем-иностранцем?

— Наш не станет голосовать за адрес, — сказал мистер О'Коннор. — Он проходит по националистскому списку[62].

— Не станет? — сказал мистер Хайнс. — Поживем — увидим. Знаю я его. Недаром он Проныра Тирни.

— Черт возьми, может, вы и правы, Джо, — сказал мистер О'Коннор. — А все-таки хотел бы я получить свои денежки.

Все трое замолчали. Старик опять начал сгребать золу. Мистер Хайнс снял шляпу, стряхнул ее

---

[61] notes: 61

Эдуард VII (1841 — 1910), английский король с 1901 г., из Саксен-Кобург-Готской династии. Как и его родители, королева Виктория и принц Альберт, Эдуард поддерживал весьма тесные контакты с Германией. В 1902 г. король отложил свою поездку в Ирландию, поскольку в стране царили неблагоприятные антимонархические настроения. Поездка состоялась в 1903 г. Ирландские националисты добились отмены вручения традиционного адреса королю.

[62] notes: 62

Подразумевается, что Тирни — член ирландской парламентской партии (партии гомрулеров), в которой после отставки Парнелла в 1890 г. произошел раскол.

и опустил воротник пальто; все увидели листок плюща у него в петлице.

— Если б он был жив[63], — сказал он, показывая на листок, — кто бы говорил о приветственных адресах.

— Верно, — сказал мистер О'Коннор.

— Что там! Было времечко, благослови его бог, — сказал старик.

В комнате опять стало тихо. В дверь протиснулся суетливый человек — у него текло из носа и замерзли уши. Он быстро подошел к камину, так энергично потирая руки, словно хотел высечь искру.

— Денег нет, ребята, — сказал он.

— Садитесь сюда, мистер Хенчи, — сказал старик, предлагая ему свой стул.

— Не беспокойтесь, Джек, не беспокойтесь, — сказал мистер Хенчи.

Он кивком поздоровался с мистером Хайнсом и сел на стул, освобожденный для него стариком.

— Вы обошли Оджиер-Стрит? — спросил он мистера О'Коннора.

— Да, — сказал мистер О'Коннор, начиная шарить по карманам в поисках записной книжки.

---

[63] notes: 63
Имеется в виду Парнелл.

— Заходили к Граймсу?

— Заходил.

— Ну и что он?

— Ничего не обещает. Говорит: «Я никому не скажу, за кого собираюсь голосовать». Но думаю, с ним все будет в порядке.

— Почему это?

— Он спросил меня, кто поддерживает кандидатуру. Я назвал отца Бэрка. Думаю, все будет в порядке.

Мистер Хенчи начал опять шмыгать носом, с ужасающей быстротой потирая руки перед огнем. Потом он сказал:

— Ради бога, Джек, принесите угля. Там ведь еще есть. Старик вышел из комнаты.

— Плохи дела, — сказал мистер Хенчи, качая головой. — Я спрашивал этого паршивца, а он говорит: «Ну, мистер Хенчи, когда я увижу, что работа идет как следует, я вас не забуду, будьте уверены». Паршивец этакий! Впрочем, чего от него ждать?

— Что я вам говорил, Мэт? — сказал мистер Хайнс. — Проныра Тирни.

— Еще какой проныра! — сказал мистер Хенчи.

— Недаром у него такие свиные глазки. Черт бы его побрал! Неужели он не может вести се-

бя по-людски и заплатить без этих разговоров: «Видите ли, мистер Хенчи, сначала мне нужно переговорить с мистером Фэннингом... У меня и так ушло много денег». Щенок паршивый! Забыл, должно быть, то время, когда папаша его торговал старьем на Мэри-Лейн.

— А это верно? — спросил О'Коннор.

— Господи, еще бы, — сказал мистер Хенчи. — Неужели вы никогда не слыхали? Туда, к этому аристократу, заходили по утрам в воскресенье, будто бы купить жилетку или брюки. А пронырливый папаша Проныры Тирни всегда держал где-нибудь в углу черную бутылочку. Понимаете, в чем дело? Вот в этом самом. Там-то наш голубчик и появился на свет.

Старик принес немного угля и подбросил в огонь.

— Хорошенькое положеньице, нечего сказать, — заметил мистер О'Коннор. — Если он не раскошелится, пусть и не мечтает, что мы станем на него работать.

— Что же я-то могу поделать, — сказал мистер Хенчи. — У меня самого, того и гляди, все пожитки опишут.

Мистер Хайнс засмеялся и, оттолкнувшись плечами от камина, собрался уходить.

— Все уладится, когда приедет король Эдди, — сказал он. — Ну, я ухожу, ребята. Увидимся еще. Прощайте.

Он медленно вышел из комнаты. Ни мистер Хенчи, ни старик ничего не сказали, но, когда дверь за ним уже закрывалась, мистер О'Коннор, угрюмо смотревший в огонь, вдруг произнес:

— Прощай, Джо.

Мистер Хенчи подождал несколько минут, потом кивнул в сторону двери.

— Скажите мне, — спросил он, сидя по другую сторону камина, — а что привело сюда нашего приятеля? Что ему понадобилось?

— Эх, бедняга Джо! — сказал мистер О'Коннор, бросая окурок в огонь. — Сидит без гроша, как и мы с вами.

Мистер Хенчи сильно шмыгнул носом и с таким смаком плюнул в камин, что почти загасил огонь, который протестующе зашипел.

— Если вы хотите знать мое личное искреннее мнение, — сказал он, — он человек из другого лагеря. Это шпион Колгена, вот что я вам скажу. Мол, пойдите и разнюхайте, что у них делается. Вас они подозревать не будут. Так-то, раскусили?

— Ну, бедняга Джо порядочный малый.

— Отец его был человек честный и порядочный,

— согласился мистер Хенчи. — Бедный Лэрри Хайнс! Он многим помог в свое время. А все-таки я опасаюсь, что наш общий приятель не больно честен. Понимаю, что без гроша нелегко, а вот шпионить — убей меня бог, этого я не понимаю. Неужели и капли самолюбия в нем не осталось?

— Не очень-то он мне нравится, — сказал старик. — Пусть работает на своих, а тут нечего вынюхивать.

— Не знаю, — сказал мистер О'Коннор с сомнением, доставая курительную бумагу и табак. — По-моему, Джо Хайнс — человек честный. Он и пером ловко орудует. Помните вы ту штуку, что он написал?

— Люди с гор и все эти фении[64] больно уж ловки, скажу я вам, — заметил мистер Хенчи. — Хотите вы знать мое личное и искреннее мнение об этих шутах гороховых? Я думаю, добрая

---

[64] notes: 64

Ирландские мелкобуржуазные революционеры-республиканцы второй половины XIX — начала XX века, члены тайных заговорщицких организаций «Ирландские революционные братства». Боролись, прибегая к террористическим актам, за независимость Ирландии. Название происходит от смешения Fene *(ст.-гэльск.)* — название обитателей древней Ирландии и Fianna *(гэльск.)* — легендарные воины, защитники страны во времена короля Финна Мак Куля (III в.). Иногда фениев называли «людьми с гор» — по месту, где они скрывались.

половина их состоит на жалованье у Замка[65]! Стопроцентный патриот! Этот вам продаст родину за четыре пенса да еще будет на коленях бога благодарить за то, что есть что продавать.

В дверь постучались.

— Войдите! — сказал мистер Хенчи.

В дверях показался человек, похожий на бедного священника или бедного актера. Наглухо застегнутый черный сюртук плотно обтягивал его короткое туловище, и трудно было разобрать, какой на нем надет воротничок — духовного или светского покроя, потому что воротник потертого сюртука, в облезших пуговицах которого отражалось пламя свечи, был высоко поднят. На нем была круглая шляпа из жесткого черного фетра. Его лицо, блестевшее от дождя, напоми-

---

[65] notes: 65

Подразумевается работа на английские власти..

— Ну, кто его знает, — сказал старик.

— Я-то знаю, — сказал мистер Хенчи. — Они на побегушках у властей. Я не про Хайнса говорю… Нет, черт возьми, я считаю, что он не таков… Но есть один джентльмен с кривым глазом — понимаете, на какого патриота я намекаю?

Мистер О'Коннор кивнул.

— Близкий родственник майора Сэра[Генри Чарльз Сэр (1764–1841), мэр Дублина в 1798 г., служил англичанам, принимал активное участие в подавлении восстания 1798 г., организованного обществом «Объединенные ирландцы», которое было ответом на колониальную политику Англии. Прославился своей жестокостью и неразборчивостью в средствах.

нало желтый сыр со слезой, и только на скулах проступали два розовых пятна. Он неожиданно раскрыл огромный рот, как будто хотел выразить разочарование, но в широко распахнутых очень живых синих глазах одновременно отразились удовольствие и удивление.

— А, отец Кион! — сказал мистер Хенчи, вскакивая со стула. — Это вы? Входите же!

— Нет, нет, нет! — быстро заговорил отец Кион, сложив губы трубочкой, и казалось, что он обращается к ребенку.

— Войдите же, присядьте!

— Нет, нет, нет, — сказал отец Кион тихим, ласковым, бархатным голосом. — Не стану вам мешать! Я хотел только взглянуть, нет ли тут мистера Фэннинга.

— Он рядом, в «Черном Орле», — сказал мистер Хенчи. — Может, все-таки зайдете и присядете на минутку?

— Нет, нет, благодарю вас. У меня к нему небольшое дельце, — сказал отец Кион. — Благодарю вас, не стоит.

Он попятился, и мистер Хенчи, взяв один из подсвечников, подошел к дверям, чтобы посветить ему на лестнице.

— Не беспокойтесь, пожалуйста!

— Что вы, на лестнице так темно.

— Что вы, что вы, я вижу… Благодарю.

— Теперь дойдете?

— Да, дойду… Благодарю вас.

Мистер Хенчи вернулся с подсвечником и поставил его на стол. Он снова уселся перед камином. Несколько секунд все молчали.

— Послушайте, Джон, — сказал мистер О'Коннор, раскуривая папиросу другой карточкой.

— Да?

— Что он, собственно, такое?

— Спросите что-нибудь полегче, — сказал мистер Хенчи. — Их с Фэннингом водой не разольешь. Они часто бывают вместе у Кэвенаха. Он действительно священник?

— Вроде бы… То, что называется «паршивая овца». У нас их, слава господу, не так много, а все-таки есть… Несчастный, в общем-то, человек.

— А на что он живет? — спросил мистер О'Коннор.

— Опять-таки загадка.

— Он в какой церкви? Что он делает?

— Он сам по себе, — сказал мистер Хенчи. — Прости меня, господи, — прибавил он, — ведь я его не узнал, думал, что это человек из бара с дюжиной портера.

— А действительно, как насчет портера? — спросил мистер О'Коннор.

— У меня тоже в горле пересохло, — сказал старик.

— Я три раза спрашивал этого мозгляка, пришлет он портер или нет, — сказал мистер Хенчи. — Сейчас я еще раз его спросил, а он стоит себе в жилетке, облокотившись на стойку, и шушукается с членом муниципалитета Каули.

— А что ж вы ему не напомнили? — сказал мистер О'Коннор.

— Так, не хотел подходить, пока он разговаривает с членом муниципалитета Каули. Подождал, пока он меня заметит, и сказал: «А как насчет того дельца, что я вам говорил?» — «Все будет в порядке, мистер Хенчи», — сказал он. Да что там, этот мальчик-с-пальчик и думать о нас забыл.

— Там что-то такое затевается, — задумчиво сказал О'Коннор. — Вчера я видел, как все трое перешептывались на углу Саффолк-Стрит.

— Кажется, я знаю, какое дельце они затеяли, — сказал мистер Хенчи. — Теперь, если хочешь стать лорд-мэром, занимай у отцов города. Тогда они тебя сделают лорд-мэром. Клянусь богом! Я и сам подумываю, не сделаться ли мне отцом города. Как, по-вашему? Гожусь я?

Мистер О'Коннор засмеялся.

— Если все дело в том, чтобы быть в долгу…

— Буду выезжать из Замка, весь в горностае да в г… — сказал мистер Хенчи, — и наш Джек на запятках, в напудренном парике. Каково?

— А меня назначьте личным секретарем, Джон.

— Само собой. А отца Киона — личным духовником. Устроимся по-семейному.

— Право, мистер Хенчи, — сказал старик, — уж вы не стали бы так жаться, как другие прочие. На днях я разговорился с привратником, стариком Кигэном. «Как тебе нравится новый хозяин, Пэт? — говорю я ему. — У вас, как видно, не очень-то весело», — говорю. «Весело, — говорит он. — Обедаем в приглядку». И знаете, что он мне еще сказал? Я ему не поверил.

— Что? — спросили мистер Хенчи и мистер О'Коннор.

— Он мне сказал: «Как тебе понравится лорд-мэр города Дублина, который посылает в лавку за фунтом мяса. Вот тебе и жизнь на широкую ногу!» — говорит он. «Да брось ты!» — говорю я. «Фунт мяса для лорд-мэра!» — говорит он. «Да брось ты! — говорю я. — И что за народ пошел нынче?»

В эту минуту кто-то постучал, и в дверь просу-

нулась голова мальчика.

— Что там? — спросил старик.

— Из «Черного Орла», — ответил мальчик, протискиваясь боком, и поставил на пол корзину, звякнув бутылками.

Старик помог рассыльному вынуть бутылки из корзины на стол и пересчитать их. Затем мальчик подхватил корзину и спросил:

— А бутылки, сэр?

— Какие бутылки? — сказал старик.

— Сначала нужно их выпить, — сказал мистер Хенчи.

— Мне велели спросить бутылки.

— Приходи завтра, — сказал старик.

— Слушай, мальчик! — сказал мистер Хенчи. — Сбегай к О'Фэррелу и попроси одолжить нам штопор — так и скажи: для мистера Хенчи. Скажи, что мы сейчас же вернем. Корзину оставь здесь.

Мальчик ушел, и мистер Хенчи начал радостно потирать руки, приговаривая:

— Ну, ну, он не так уж плох. Слово-то свое держит.

— Стаканов нет, — сказал старик.

— Не беда, Джек, — сказал мистер Хенчи. — И до нас порядочные люди пивали из бутылок.

— Все-таки лучше, чем ничего, — сказал мистер

О'Коннор.

— Он-то человек неплохой, — сказал мистер Хенчи, — только Фэннинг больно уж им помыкает.

Мальчик вернулся со штопором. Старик откупорил три бутылки и отдал ему штопор, а мистер Хенчи сказал мальчику:

— Хочешь выпить, мальчик?

— Да, сэр, если можно, — сказал мальчик.

Старик неохотно откупорил еще одну бутылку и передал ее мальчику.

— Сколько тебе лет? — спросил он.

— Семнадцать, — сказал мальчик.

Старик промолчал, и мальчик взял бутылку, сказав: «Мое почтение, мистер Хенчи», выпил портер, поставил бутылку обратно на стол и обтер губы рукавом. Потом он взял штопор и боком протиснулся в дверь, бормоча что-то на прощанье.

— Вот с этого и начинают, — сказал старик.

— Лиха беда начало, — сказал мистер Хенчи.

Старик роздал те три бутылки, которые откупорил, и все трое начали пить. Отпив глоток, они поставили свои бутылки поближе на камин и удовлетворенно вздохнули.

— Сегодня я здорово поработал, — сказал мистер Хенчи, помолчав немного.

— Вот как, Джон?

— Да. Я ему завербовал парочку голосов на Даусон-Стрит, вместе с Крофтоном. Между нами говоря, Крофтон, конечно, человек хороший, но для предвыборной кампании не годится. Молчит как рыба. Стоит и глазеет, а я за него отдувайся.

Тут в комнату вошли двое. Один из них был так толст, что синий шевиотовый костюм трещал по швам на его расплывшейся фигуре. У него было большое бычье лицо, голубые глаза навыкате и седеющие усы. У другого мужчины, гораздо моложе и тоньше, было худое, чисто выбритое лицо. На нем был сюртук с очень высоким отложным воротничком и котелок с широкими полями.

— Хэлло, а вот и Крофтон, — сказал мистер Хенчи толстяку. — Легок на помине…

— Откуда выпивка? — спросил молодой человек. — Неужели наш расщедрился?

— Ну конечно! Лайонс первым долгом почуял выпивку! — сказал со смехом мистер О'Коннор.

— Так-то вы обходите избирателей? — сказал мистер Лайонс. — А мы-то с Крофтоном бегаем за голосами по холоду, под дождем!

— Ах, чтоб вас! — сказал мистер Хенчи. — Да я в пять минут соберу больше голосов, чем вы вдвоем за неделю.

— Откупорь две бутылки портера, Джек, — сказал мистер О'Коннор.

— Как же я откупорю, — сказал старик, — когда штопора нет?

— Стойте, стойте! — крикнул мистер Хенчи, вскакивая с места. — Видали вы такой фокус?

Он взял две бутылки со стола и поставил на каминную решетку. Потом снова сел перед камином и отпил глоток из своей бутылки. Мистер Лайонс сел на край стола, сдвинул шляпу на затылок и начал болтать ногами.

— Которая бутылка моя? — спросил он.

— Вот эта, старина, — сказал мистер Хенчи.

Мистер Крофтон, усевшись на ящик, не сводил глаз со второй бутылки на решетке. Он молчал по двум причинам. Первая причина, сама по себе достаточно веская, была та, что ему нечего было сказать; вторая причина была та, что он считал своих собеседников ниже себя. Раньше он собирал голоса для Уилкинса, но когда консерваторы сняли своего кандидата и, выбирая меньшее из двух зол, отдали свои голоса кандидату национа-

листов[66], его пригласили работать для мистера Тирни.

Через несколько минут послышалось робкое «пок» — из бутылки мистера Лайонса вылетела пробка. Мистер Лайонс соскочил со стола, подошел к камину, взял бутылку и вернулся к столу.

— Я как раз говорил, Крофтон, — сказал мистер Хенчи, — что мы с вами сегодня собрали порядочно голосов.

— Кого вы завербовали? — спросил мистер Лайонс.

— Ну, во-первых, я завербовал Паркса, во-вторых, я завербовал Аткинсона, и я завербовал еще Уорда с Даусон-Стрит. Замечательный старик, настоящий джентльмен, старый консерватор. «Да ведь ваш кандидат — националист», — говорит он. «Он уважаемый человек, — говорю я. — Стоит за все, что может быть полезно нашей стране. Налоги большие платит, — говорю я. — У него дома, в центре города, три конторы, и в его интересах, чтобы налоги понизились. Это видный и всеми

[66] notes: 66

Ирландские консерваторы находились в сговоре с английской консервативной партией. В 90-е годы XIX в. консерваторы предлагали компромиссное решение ирландского вопроса. Они поддерживали земельную реформу, но выступали за Унию с Англией 1801 года, которая окончательно ликвидировала остатки автономии страны. Также они всячески бойкотировали политику гомруля.

уважаемый гражданин, — говорю я, — попечитель совета бедных, не принадлежит ни к какой партии — ни к хорошей, ни к дурной, ни к посредственной». Вот как с ними надо разговаривать.

— А как насчет адреса королю? — сказал мистер Лайонс, выпив портер и причмокнув губами.

— Вот что я вам скажу, — начал мистер Хенчи, — и это серьезно, нашей стране нужен капитал, как я уже говорил старому Уорду. Приезд короля означает приток денег в нашу страну. Гражданам Дублина это пойдет на пользу. Посмотрите на эти фабрики на набережных — они бездействуют. Подумайте, сколько денег будет в стране, если пустить в ход старую промышленность — заводы, верфи и фабрики. Капитал — вот что нам нужно.

— Однако послушайте, Джон, — сказал мистер О'Коннор. — С какой стати мы будем приветствовать короля Англии? Ведь сам Парнелл…[67]

— Парнелл умер, — сказал мистер Хенчи. — И вот вам моя точка зрения. Теперь этот малый взо-

---

[67] notes: 67

В 1885 г. Парнелл призывал «всех независимых и патриотически настроенных граждан Ирландии» бойкотировать визит Эдуарда VII, в ту пору принца Уэльского.

шел на престол, после того как старуха мать[68] держала его не у дел до седых волос. Он человек светский и вовсе не желает нам зла. Он хороший парень, и очень порядочный, если хотите знать мое мнение, и без всяких глупостей. Вот он и говорит себе: «Старуха никогда не заглядывала к этим дикарям ирландцам. Черт возьми, поеду сам, посмотрю, какие они!» И что же нам — оскорблять его, когда он приедет навестить нас по-дружески? Ну? Разве я не прав, Крофтон?

Мистер Крофтон кивнул.

— Вообще, — сказал мистер Лайонс, не соглашаясь, — жизнь короля Эдуарда, знаете ли, не очень-то...[69]

— Что прошло, то прошло, — сказал мистер Хенчи. — Лично я в восторге от этого человека. Он самый обыкновенный забулдыга, вроде нас с вами. Он и выпить не дурак, и бабник, и спортсмен хороший. Да что, в самом деле, неужели мы, ирландцы, не можем отнестись к нему по-чело-

---

[68] notes: 68

Имеется в виду королева Виктория (1815–1901; правила с 1837 г.). Значительную часть своей жизни ее сын Эдуард провел как наследник престола, «принц Уэльский»; Виктория старательно не допускала его до сколько-нибудь серьезного участия в политической жизни страны.

[69] notes: 69

Подразумеваются многочисленные любовницы короля, судебные процессы, в которые он был втянут из-за своего сомнительного поведения.

вечески?

— Все это так, — сказал мистер Лайонс. — Но вспомните дело Парнелла.

— Ради бога, — сказал мистер Хенчи, — а в чем сходство?

— Я хочу сказать, — продолжал мистер Лайонс, — что у нас есть свои идеалы. Чего же ради мы будем приветствовать такого человека? Разве после того, что он сделал, Парнелл годился нам в вожди? С какой же стати мы будем приветствовать Эдуарда Седьмого?

— Сегодня годовщина смерти Парнелла, — сказал мистер О'Коннор. — Кто старое помянет... Теперь, когда он умер и похоронен[70], все мы его чтим, даже консерваторы, — сказал он, оборачиваясь к мистеру Крофтону.

Пок! Запоздалая пробка вылетела из бутылки мистера Крофтона. Мистер Крофтон встал с ящика и подошел к камину. Возвращаясь со своей добычей, он сказал проникновенным голосом:

— Наша партия уважает его за то, что он был джентльменом.

— Правильно, Крофтон, — горячо подхватил мистер Хенчи. — Он был единственный человек,

---

[70] notes: 70
Парнелл умер в Англии, затем его тело было перевезено в Дублин.

который умел сдерживать эту свору. «Молчать, собаки! Смирно, щенки!» Вот как он с ними обращался. Входите, Джо! Входите! — воскликнул он, завидя в дверях мистера Хайнса. Мистер Хайнс медленно вошел.

— Откупорь еще бутылку, Джек, — сказал мистер Хенчи. — Да, я и забыл, что нет штопора! Подай-ка мне одну сюда, я поставлю ее к огню.

Старик подал ему еще одну бутылку, и мистер Хенчи поставил ее на решетку.

— Садись, Джо, — сказал мистер О'Коннор, — мы здесь говорили о вожде.

— Вот-вот, — сказал мистер Хенчи.

Мистер Хайнс молча присел на край стола рядом с мистером Лайонсом.

— Есть по крайней мере один человек, кто не отступился от него, — сказал мистер Хенчи. — Ей-богу, вы молодец, Джо! Ей-ей, вы стояли за него до конца.

— Послушайте, Джо, — вдруг сказал мистер О'Коннор. — Прочтите нам эти стихи… что вы написали… помните? Вы знаете их наизусть?

— Давайте! — сказал мистер Хенчи. — Прочтите нам. Вы слыхали их, Крофтон? Так послушайте. Великолепно.

— Ну, Джо, — сказал мистер О'Коннор. — На-

чинайте. Казалось, что мистер Хайнс не сразу вспомнил стихи, о которых шла речь, но, подумав минутку, он сказал:

— А, эти стихи… давно это было.

— Читайте! — сказал мистер О'Коннор.

— Ш-ш! — сказал мистер Хенчи. — Начинайте, Джо.

Мистер Хайнс все еще колебался. Потом, среди общего молчания, он снял шляпу, положил ее на стол и встал. Он как будто повторял стихи про себя. После довольно продолжительной паузы он объявил:

СМЕРТЬ ПАРНЕЛЛА

6 октября 1891 года

Он откашлялся раза два и начал читать:

Он умер. Мертвый он лежит,
некоронованный король.
Рыдай над ним, родной Эрин[71]*,*
он пал, сраженный клеветой.

Его травила свора псов,
вскормленных от его щедрот.
Ликует трус и лицемер,

---

[71] notes: 71
Древнее название Ирландии.

гремит победу жалкий сброд.

Ты слезы льешь, родной Эрин,
и в хижинах, и во дворцах;
свои надежды схоронил
ты, схоронив великий прах.

Он возвеличил бы тебя,
взрастил героев и певцов;
он взвил бы средь чужих знамен
зеленый стяг твоих отцов.

К свободе рвался он душой,
и миг желанный близок был,
когда великого вождя
удар предательский сразил.

Будь проклят, кто его убил
и тот, кто, в верности клянясь,
отдал его на суд попам,
елейной шайке черных ряс.

И те, кто грязью забросал
его, лишь стон последний стих;
позор пожрет их имена
и память самое о них.

Ты бережно хранишь, Эрин,
героев славные сердца.
Он пал, как падает боец,
он был отважен до конца.

Не беспокоит сон его
ни шум борьбы, ни славы зов;
он спит в могильной тишине,
лежит, сокрытый от врагов.

Победа – их, он – пал в бою;
но знай, Эрин, могучий дух,
как Феникс, вспрянет из огня,
когда Заря забрезжит вдруг.

Родной Эрин свободу пьет,
и в кубке Радости хмельном
лишь капля горечи одна –
что Парнелл спит могильным сном.

Мистер Хайнс снова присел на стол. Он кончил читать, наступило молчание, потом раздались аплодисменты; хлопал даже мистер Лайонс. Аплодисменты продолжались некоторое время. Когда они утихли, слушатели молча отхлебнули из своих бутылок.

Пок! Пробка выскочила из бутылки мистера Хайнса, но мистер Хайнс, без шляпы, раскрасневшийся, остался сидеть на столе. Он словно ничего не слышал.

— Молодец, Джо! — сказал мистер О'Коннор и вынул из кармана бумагу и кисет, чтобы скрыть свое волнение.

— Ну, как ваше мнение, Крофтон? — вскричал мистер Хенчи. — Ведь замечательно? А?

Мистер Крофтон сказал, что стихи замечательные.

Мать
Перевод Н. Л. Дарузес

Мистер Хулоен, помощник секретаря общества «Eire Abu»[72], чуть ли не целый месяц бегал по всему Дублину; в руках у него был ворох грязных бумажонок, такие же бумажки торчали у него из кармана: он устраивал цикл концертов. Одна нога у него была короче другой, и за это приятели прозвали его «Колченогий Хулоен». Он беспрестанно сновал взад и вперед, часами простаивал на перекрестке, со всеми обсуждал свои дела и что-то записывал, но кончилось тем, что все устроила миссис Кирни.

Мисс Девлин стала госпожой Кирни всем назло. Она воспитывалась в хорошем монастыре, где ее обучали французскому языку и музыке. Вялая по натуре и чопорная, она почти ни с кем не подружилась в школе. Когда пришло время вы-

---

[72] notes: 72

«Зрелая Ирландия» *(ирл.),* одно из обществ, организованных участниками Кельтского Возрождения. Ирония Джойса очевидна: Ирландия деятелей Возрождения никак не представлялась ему зрелой, напротив, наивно-сентиментальной. Фамилия мистера Хулоена явно перекликается с именем героя известной пьесы У. Б. Йейтса, одного из деятельных участников Ирландского Возрождения, «Кэтлин, дочь Хулиэна» (1902).

давать ее замуж, ее стали вывозить в общество, где многие восхищались ее игрой и изысканными манерами. Она сидела, окруженная ледяной стеной своих совершенств, и дожидалась, что найдется, наконец, поклонник, который возьмет их приступом и предложит ей блистательную жизнь. Но те молодые люди, которых она встречала, ничем не выделялись, и она не поощряла их; а свои романтические порывы умеряла тем, что потихоньку объедалась восточными сладостями. Тем не менее, когда она засиделась в девушках и подруги начали чесать язычки на ее счет, она заткнула им рты, выйдя замуж за мистера Кирни, у которого была небольшая сапожная мастерская на набережной Ормонд. Он был намного старше ее. Его речь, всегда серьезная, застревала в длинной каштановой бороде. После первого года замужества миссис Кирни поняла, что такой муж — гораздо надежнее какого-нибудь романтического юноши, но с романтическими идеями все-таки не рассталась. Он был воздержан, бережлив и набожен, причащался каждую первую пятницу месяца, иногда вместе с женой, чаще — один. И все же она оставалась неизменно тверда в вере и была ему хорошей женой. Где-нибудь в гостях, в малознакомом доме, стоило ей чуть-чуть

шевельнуть бровями, как он вставал и прощался, а когда его мучил кашель, она укутывала ему ноги пуховым одеялом и готовила крепкий пунш. Он, со своей стороны, был примерным отцом семейства. Выплачивая еженедельно небольшую сумму, он обеспечил обеим дочерям по сто фунтов приданого к тому времени, когда каждой из них исполнится двадцать четыре года. Старшую дочь, Кэтлин, он отдал в хороший монастырь, где ее обучили французскому языку и музыке, а потом платил за нее в Академию[73]. Каждый год, в июле месяце, миссис Кирни находила случай сказать какой-нибудь приятельнице: — Мой муж отправляет нас в Скерриз недели на три.

А если это был не Скерриз, то Хоут или Грейстонз[74].

Когда Ирландское Возрождение обрело силу, миссис Кирни решила извлечь выгоду из имени своей дочери и пригласила на дом учителя ирландского языка. Кэтлин[75] с сестрой посылали друзьям красочные открытки с видами Ирландии

---

[73] notes: 73
Имеется в виду Королевская Академия музыки.

[74] notes: 74
Модные курортные места в Ирландии.

[75] notes: 75
Кэтлин — излюбленное ирландское имя.

и в ответ получали от них такие же красочные открытки. В те воскресенья, когда мистер Кирни ходил со своей семьей к мессе, на углу улицы после службы собиралась кучка народа. Все это были друзья семейства Кирни, с которыми их связывал интерес к музыке или к Гэльскому Возрождению: когда обмен сплетнями заканчивался, все они пожимали друг другу руки, смеясь над тем, что сразу скрещивается столько рук, и говорили друг другу «до свидания» по-гэльски. Скоро имя мисс Кэтлин Кирни стали повторять все чаще и чаще. Говорили, что она прекрасная музыкантша и очень милая девушка, а сверх того — убежденная сторонница Гэльского Возрождения. Миссис Кирни была очень этим довольна. И потому она нисколько не удивилась, когда в один прекрасный день к ней явился мистер Хулоен и предложил ее дочери аккомпанировать на четырех больших концертах, которые Общество собиралось дать в концертном зале Энтьент. Она проводила его в гостиную, предложила сесть и подала графин с вином и серебряную корзиночку с печеньем. Она с увлечением входила во все детали этого предприятия, советовала и отговаривала; наконец, был составлен контракт, согласно которому Кэтлин должна была получить восемь

гиней за аккомпанирование на четырех больших концертах.

Мистер Хулоен был новичком в таком тонком деле, как составление афиши и чередование номеров программы, и поэтому миссис Кирни помогала ему. Она обладала тактом. Ей было известно, каких артистов нужно печатать крупным шрифтом, а каких — мелким. Ей было известно, что первый тенор не захочет выступать после комических куплетов мистера Мида. Чтобы публика не соскучилась, она вставляла между сомнительными номерами испытанных любимцев публики. Мистер Хулоен заходил к ней каждый день посоветоваться по какому-нибудь вопросу. Она неизменно принимала его дружески и покровительственно — прямо как родного. Она пододвигала к нему графин, говоря:

— Наливайте, мистер Хулоен!

А когда он брался за графин, она говорила:

— Ну же, наливайте полней!

Все шло как по маслу. Миссис Кирни купила прелестный коралловый шармез у Брауна Томаса[76] для вставки к платью Кэтлин. Он обошелся ей недешево, но бывают такие случаи, когда стоит

---

[76] notes: 76

Фешенебельный магазин в Дублине, где продавались дорогие товары. Шармез — вид тонкой шелковой ткани.

потратить лишнее. Она взяла десяток билетов по два шиллинга на последний концерт и разослала их тем из своих друзей, на присутствие которых иначе нельзя было рассчитывать. Она помнила обо всем, и благодаря ей все, что следовало сделать, было сделано.

Концерты должны были состояться в среду, четверг, пятницу и субботу. Когда в среду вечером миссис Кирни явилась с дочерью в концертный зал Энтьент, ей сразу что-то не понравилось. Несколько молодых людей с ярко-голубыми значками[77] в петлицах праздно стояли в вестибюле; ни на ком не было фрака. Она прошла с дочерью мимо них и, бросив быстрый взгляд в открытые двери зала, поняла, почему распорядители стоят без дела. Сначала она подумала, не ошиблась ли во времени. Нет, было без двадцати минут восемь.

В артистической позади сцены ее представили секретарю Общества, мистеру Фицпатрику. Она улыбнулась и подала ему руку. Это был маленький человечек с бледным, безразличным лицом. Она заметила, что мягкую коричневую шляпу он

[77] notes: 77

Такие значки носили члены Гэльской спортивной лиги. Развитие спорта, особенно его национальных видов, также было одним из пунктов программы Возрождения.

носит набекрень и говорит с сильным английским акцентом. Он держал в руке программу и, разговаривая с миссис Кирни, изжевал ее уголок. Он, видно, легко переносил удары судьбы. Каждые пять минут в комнату входил мистер Хулоен и сообщал, как идет продажа билетов. Артисты взволнованно переговаривались между собой и, поглядывая время от времени в зеркало, свертывали и развертывали ноты. Было уже около половины девятого, когда немногочисленные зрители в зале начали выражать свое нетерпение. Вошел мистер Фицпатрик, безразлично улыбнулся присутствующим и сказал:

— Ну, что же, леди и джентльмены! Я полагаю, пора открывать бал.

Миссис Кирни одарила его быстрым и презрительным взглядом, затем сказала дочери ободряющим тоном:

— Ты готова, милочка?

Улучив минуту, она отозвала мистера Хулоена в сторону и спросила его, что все это значит. Мистер Хулоен не знал, что все это значит. Он сказал ей, что комитет сделал ошибку, решив устроить четыре концерта, — четыре слишком много.

— А эти артисты! — сказала миссис Кирни. — Конечно, они из кожи лезут вон, но, право же,

все они никуда не годятся.

Мистер Хулоен согласился, что артисты никуда не годятся: комитет, по его словам, решил махнуть рукой на первые три концерта и приберечь все таланты к субботе. Миссис Кирни промолчала, но по мере того, как посредственные исполнители на сцене сменяли один другого, а публика в зале все редела и редела, она начала жалеть, что потратилась ради такого концерта. Что-то во всем этом ей не нравилось, а безразличная улыбка мистера Фицпатрика ужасно ее раздражала. Однако она молчала и ждала, чем все кончится. К десяти часам программа истощилась, и все быстро разошлись по домам.

В четверг на концерте было больше народа, но миссис Кирни сразу увидела, что в зале сидят одни контрамарочники. Публика вела себя бесцеремонно, словно не на концерте, а на генеральной репетиции. Мистер Фицпатрик, по-видимому, был очень доволен, он вовсе не замечал того, что миссис Кирни следит за его поведением и сердится. Он стоял у бокового софита, по временам высовывая голову, и пересмеивался с двумя приятелями, сидевшими с краю на галерке. К концу вечера миссис Кирни узнала, что в пятницу концерт не состоится и что комитет решил

сделать невозможное, но добиться полных сборов в субботу вечером. Услышав это, миссис Кирни разыскала мистера Хулоена. Она перехватила его по дороге, когда он, хромая и спеша, нес стакан лимонада какой-то молодой особе, и спросила его, правда ли это. Да, это была правда.

— Но ведь это, разумеется, не меняет контракта. Контракт был заключен на четыре концерта.

Мистер Хулоен торопился; он посоветовал ей поговорить с мистером Фицпатриком. Миссис Кирни начинала беспокоиться. Она вызвала мистера Фицпатрика из-за софита и сказала ему, что дочь ее подписала контракт на четыре концерта и что, само собой разумеется, она должна получить предусмотренную контрактом сумму независимо от того, даст общество четыре концерта или меньше. Мистер Фицпатрик, который сразу не понял, в чем дело, как видно, затруднялся разрешить этот вопрос и сказал, что поставит его перед комитетом. От гнева кровь бросилась ей в лицо, и она едва сдержалась, чтобы не съязвить: «А кто это «Комитет», скажите, пожалуйста?»

Но она чувствовала, что это было бы недостойно воспитанной женщины, и промолчала.

В пятницу с раннего утра по улицам Дублина разослали мальчишек с пачками афиш. Специ-

альное объявление появилось во всех вечерних газетах, напоминая меломанам о празднике, который ожидал их завтра вечером. Миссис Кирни несколько успокоилась, но все же сочла нужным поделиться своими опасениями с мужем. Он внимательно выслушал ее и сказал, что, пожалуй, будет лучше, если в субботу он пойдет вместе с ней. Она согласилась. Миссис Кирни уважала мужа так же, как уважала Главный почтамт — как нечто большое, основательное и надежное; и хотя знала, что таланты его немногочисленны, ценила в нем абстрактное достоинство мужчины. Она была рада, что он предложил себя в спутники. Она снова обдумала свой план.

Наступил вечер большого концерта. Миссис Кирни вместе с мужем и дочерью явилась в концертный зал Энтьент за три четверти часа до начала. К несчастью, вечер был дождливый. Миссис Кирни отдала накидку и ноты дочери на сохранение мужу и обошла все здание, разыскивая мистера Хулоена или мистера Фицпатрика. Она не могла найти ни того, ни другого. Она спрашивала распорядителей, есть ли тут кто-нибудь из членов комитета, и наконец после больших трудов один из них разыскал маленькую женщину по имени мисс Бейрн, которой миссис Кирни

объяснила, что ей нужен кто-нибудь из секретарей. Мисс Бейрн ожидала их с минуты на минуту и спросила, не может ли она быть чем-нибудь полезна. Миссис Кирни испытующе посмотрела на старообразное лицо, в котором застыло выражение восторга и доверчивости, и ответила:

— Нет, благодарю вас!

Маленькая женщина выразила надежду, что зал сегодня будет полон. Она смотрела на дождь до тех пор, пока унылый вид мокрой улицы не стер восторг и доверие с ее морщинистого лица. Тогда она сказала с легким вздохом:

— Ну что ж! Видит бог, мы сделали все что могли!

Миссис Кирни пришлось вернуться в артистическую.

Артисты съезжались. Бас и второй тенор уже приехали. Бас, мистер Дагген, был стройный молодой человек с торчащими черными усиками. Он был сыном швейцара в какой-то из контор города и еще в детстве оглашал огромный вестибюль конторы своим зычным голосом. Из этого скромного положения он выбился своими силами и в конце концов стал первоклассным артистом. Он выступал и в опере. Как-то раз, когда заболел один из оперных артистов, он исполнял партию

короля в опере «Маритана»[78] в Театре королевы[79]. Он спел свою партию с большим чувством и силой и был очень тепло принят галеркой; к несчастью, он испортил хорошее впечатление тем, что по забывчивости высморкался раза два в лайковую перчатку. Он был непритязателен и говорил мало. Он говорил «дык» (вместо «так») до такой степени мягко, что это проходило незамеченным, и, заботясь о своем голосе, никогда не пил ничего крепче молока. Мистер Белл, второй тенор, был белокурый человечек, ежегодно участвовавший в «Feis Ceoil»[80]. На четвертом конкурсе ему была присуждена бронзовая медаль. Он был болезненно истеричен и болезненно завидовал другим тенорам, прикрывая свою истерическую зависть бурными изъявлениями дружбы. Его слабостью было рассказывать всем, какая пытка для него выступать в концертах. Поэтому, завидев мистера Даггена, он подошел к нему и спросил:

---

[78] notes: 78

Опера ирландского композитора Уильяма Винсента Уоллеса (1814–1865) на либретто Эдуарда Фицболла.

[79] notes: 79

Один из трех крупных театров в Дублине в начале XX в. В отличие от Королевского театра и Варьете не имел постоянного репертуара.

[80] notes: 80

Праздник *(ирл.).* Здесь: название ежегодного музыкального дублинского конкурса, учрежденного в 1897 г. с целью способствовать развитию национальной ирландской музыки.

— Вы тоже участвуете?

— Да, — сказал мистер Дагген.

Мистер Белл улыбнулся своему товарищу по несчастью и, протянув руку, сказал:

— Сочувствую!

Миссис Кирни прошла мимо этих двух молодых людей и подошла к софиту, оглядывая зал. Места быстро заполнялись, и в зале стоял приятный шум. Она вернулась в артистическую и переговорила по секрету с мужем. Говорили они, по-видимому, о Кэтлин, потому что оба то и дело поглядывали на нее, а она стояла и разговаривала с одной из своих приятельниц, мисс Хили, контральто.

Никому не знакомая дама с бледным лицом вошла в комнату. Женщины зорко оглядели линялое голубое платье, обтягивавшее ее костлявую фигуру. Кто-то сказал, что это мадам Глинн, сопрано.

— Удивительно, где они ее откопали, — сказала Кэтлин, обратившись к мисс Хили. — Я никогда о ней не слышала.

Мисс Хили пришлось улыбнуться.

В эту минуту в комнату, прихрамывая, вошел мистер Хулоен, и обе девушки спросили у него, кто эта незнакомая дама. Мистер Хулоен ска-

зал, что это мадам Глинн из Лондона. Со своего наблюдательного поста в углу комнаты мадам Глинн, которая так крепко держала свернутые ноты, точно боялась с ними расстаться, удивленно оглядывала присутствующих. Тень скрыла ее линялое платье, но как бы в отместку подчеркнула маленькую впадину над ключицей. Шум в зале становился слышней. Первый тенор и баритон приехали вместе. Оба они были хорошо одеты, упитанные, благодушные и внесли с собой какую-то атмосферу довольства. Миссис Кирни подвела к ним свою дочь и любезно с ними заговорила. Ей хотелось быть с ними на дружеской ноге, но, стараясь быть любезной, она в то же время следила за хромым мистером Хулоеном, который так и норовил скрыться из виду. Как только представился случай, она извинилась и вышла вслед за ним.

— Мистер Хулоен, нельзя ли вас на минутку, — сказала она.

Они отошли в самый дальний конец коридора. Миссис Кирни спросила, когда же заплатят ее дочери. Мистер Хулоен сказал, что это дело мистера Фицпатрика. Миссис Кирни сказала, что она знать не знает мистера Фицпатрика. Ее дочь подписала контракт на восемь гиней, и ей

должны заплатить. Мистер Хулоен сказал, что это не его дело.

— То есть как не ваше? — спросила миссис Кирни. — Ведь вы сами принесли ей контракт? Во всяком случае, если это не ваше дело, то оно мое, и я намерена о нем позаботиться.

— Вам лучше переговорить с мистером Фицпатриком, — сказал мистер Хулоен рассеянно.

— Я знать не знаю вашего мистера Фицпатрика, — повторила миссис Кирни. — У меня есть контракт, и я намерена позаботиться о том, чтобы он был выполнен.

Она вернулась в артистическую, щеки ее слегка покраснели. В комнате было оживленно. Двое мужчин в пальто завладели уголком у камина и фамильярно болтали с мисс Хили и баритоном. Это были репортер от «Фримен» и мистер О'Мэдден Бэрк. Репортер зашел сказать, что не может дожидаться концерта: ему нужно писать заметку о лекции, которую читает в Замке американский пастор. Он сказал, чтобы заметку о концерте занесли в редакцию, а он уж позаботится, чтобы ее напечатали. Это был седовласый джентльмен с благозвучным голосом и осторожными манерами. Он держал в руке потухшую сигару, и аромат сигарного дыма плавал вокруг него. Он не соби-

рался здесь задерживаться, потому что концерты и исполнители давно ему наскучили, однако остался и стоял, облокотившись на каминную доску. Перед ним стояла мисс Хили, разговаривая и смеясь. Он был достаточно стар, чтобы угадать единственную причину ее любезности, но достаточно молод духом, чтобы не упустить момент. Ему были приятны теплота, благоухание и цвет ее кожи. Он с удовольствием сознавал, что грудь, которая медленно поднимается и опускается перед его глазами, поднимается и опускается в эту минуту ради него, что смех, благоухание и кокетливые взгляды — дань ему. Когда оставаться дольше было нельзя, он с сожалением простился с ней.

— О'Мэдден Бэрк напишет заметку, — объяснил он мистеру Хулоену, — а я ее напечатаю.

— Благодарю вас, мистер Хендрик, — сказал Хулоен. — Я знаю, вы ее напечатаете. Не хотите ли чего-нибудь выпить на дорогу?

— Не откажусь, — сказал мистер Хендрик.

Они вдвоем прошли по извилистым коридорам, поднялись по темной лестнице и вошли в укромную комнату, где один из распорядителей уже откупоривал бутылки для нескольких джентльменов. Один из них был мистер О'Мэд-

ден Бэрк, которого привело сюда чутье. Это был вкрадчивый пожилой джентльмен, он опирался задом на большой шелковый зонтик и раскачивался. Его звучная ирландская фамилия была тоже зонтиком, в тени которого пышно расцветали его финансовые махинации. Он пользовался всеобщим уважением.

Пока мистер Хулоен беседовал с репортером, миссис Кирни настолько оживленно беседовала с мужем, что он был принужден попросить ее понизить голос. Разговор всех остальных в артистической сделался несколько напряженным. Мистер Белл, первый номер программы, стоял наготове, держа ноты в руках, но аккомпаниаторша не двигалась с места. По-видимому, что-то было неладно. Мистер Кирни смотрел прямо перед собой, поглаживая бороду, а миссис Кирни говорила что-то на ухо Кэтлин, сдержанно и значительно. Из залы доносился шум нетерпения, хлопки и топанье. Первый тенор, баритон и мисс Хили стояли все вместе, спокойно выжидая, но мистер Белл очень волновался, боясь, как бы публика не подумала, что опаздывают из-за него.

Мистер Хулоен и мистер О'Мэдден Бэрк вошли в комнату. Мистер Хулоен сразу понял причину молчания. Он подошел к миссис Кирни и серьез-

ным тоном заговорил с ней. Они говорили, а шум в зале становился все сильней. Мистер Хулоен очень покраснел и взволновался. Он говорил быстро, а миссис Кирни коротко вставляла время от времени:

— Она не выйдет. Сначала заплатите восемь гиней.

Мистер Хулоен в отчаянии указал на дверь, за которой шумела и топала публика. Он обращался к мистеру Кирни и Кэтлин. Но мистер Кирни все гладил свою бороду, а Кэтлин глядела в землю, шевеля носком новойтуфли: это была не ее вина. Миссис Кирни повторила:

— Без денег она и шагу не ступит.

После быстрой словесной перепалки мистер Хулоен заковылял к дверям. Когда напряженное молчание начало становиться тягостным, мисс Хили сказала баритону:

— Видели вы миссис Кэт Кэмпбел[81] на этой, неделе?

Баритон ее не видел, но ему передавали, что она прекрасно выглядит. Разговор оборвался. Первый тенор, склонив голову, начал пересчитывать звенья золотой цепочки, протянувшейся поперек

---

[81] notes: 81

Имеется в виду Патрик Кэмпбел, известная английская актриса, знакомая Б. Шоу. Много гастролировала в разных странах.

его живота, пробуя голос и беря наудачу то одну, то другую ноту. Время от времени все смотрели на миссис Кирни.

Шум в зале перешел в рев, когда мистер Фицпатрик ворвался в комнату; следом за ним вбежал, задыхаясь, мистер Хулоен. Хлопки и топанье в зале перемежались свистом. Мистер Фицпатрик держал в руке несколько кредитных билетов. Он отсчитал четыре из них в руку миссис Кирни и сказал, что другую половину она получит в антракте.

Миссис Кирни сказала:

— Четырех шиллингов не хватает.

Но Кэтлин уже подобрала юбку и сказала: «Ну, мистер Белл» первому номеру программы, который дрожал как осиновый лист. Певец и аккомпаниаторша вышли вместе. Шум в зале замер. Наступила пауза в несколько секунд, затем послышался рояль.

Первое отделение программы сошло благополучно, кроме номера мадам Глинн. Бедняга спела «Килларни»[82] беззвучным, прерывающимся голосом, со всеми старомодными ужимками, интонациями и произношением, которые, как ей

[82] notes: 82

Баллада из оперы М. Балфа. Килларни — живописный район на юго-западе страны, знаменитый своими озерами.

казалось, придавали пению изысканность. Она выглядела так, будто ее взяли напрокат из старой костюмерной, и публика на дешевых местах потешалась над ее пронзительным завываньем. Однако первый тенор и контральто сумели завоевать симпатию публики. Кэтлин сыграла попурри из ирландских песен и заслужила аплодисменты. Первое отделение закончилось пламенными патриотическими стихами, которые продекламировала молодая особа, устроительница любительских спектаклей. Декламация была встречена заслуженными аплодисментами, и, когда она закончилась, объявили антракт, и мужчины вышли курить.

Все это время артистическая гудела, как улей. В одном углу собрались мистер Хулоен, мистер Фицпатрик, мисс Бейрн, два распорядителя, баритон, бас и мистер О'Мэдден Бэрк. Мистер О'Мэдден Бэрк говорил, что такого возмутительного поведения он не видел. После этого, говорил он, музыкальная карьера мисс Кэтлин Кирни кончена в Дублине. Спросили баритона, что он думает о поведении миссис Кирни. Он уклонился от ответа. Он получил что следовало и не желал ни с кем ссориться. Тем не менее он сказал, что миссис Кирни могла бы больше считаться с ис-

полнителями. Когда начался антракт, устроители горячо спорили о том, как следует поступить, когда кончится антракт.

— Я согласен с мисс Бейрн, — сказал мистер О'Мэдден Бэрк. — Не платите ей ничего.

В другом углу комнаты стояли миссис Кирни с мужем, мистер Белл, мисс Хили и молодая особа, которая декламировала патриотические стихи. Миссис Кирни говорила, что комитет поступил с ней возмутительно. Она не жалела ни трудов, ни расходов, и вот как ей отплатили.

Они думали, что будут иметь дело с неопытной девушкой, которой можно помыкать как хочешь. Она им покажет. Они не посмели бы с ней так обращаться, будь она мужчиной. Но она позаботится о том, чтобы дочь ее получила, что ей следует *по праву*, — ее не проведешь. Если ей не заплатят все до последнего фартинга, она поднимет шум на весь Дублин. Конечно, ей очень неловко перед артистами. Но что же делать? Она обратилась ко второму тенору, который сказал, что, по его мнению, с ней поступили несправедливо. Потом она обратилась к мисс Хили. Той хотелось примкнуть к другой группе, но она не могла этого сделать, так как была большой приятельницей Кэтлин и ее часто приглашали в гости.

Как только кончилось первое отделение, мистер Фицпатрик и мистер Хулоен подошли к миссис Кирни и сказали, что остальные четыре гинеи она получит в следующий вторник, после заседания комитета, и что, если ее дочь не будет играть во втором отделении, комитет будет считать контракт расторгнутым и не заплатит ничего.

— Я никакого комитета не знаю, — сердито отвечала миссис Кирни, — у моей дочери есть контракт. Она должна получить на руки четыре фунта восемь шиллингов, иначе ноги ее не будет на этой сцене.

— Удивляюсь вам, миссис Кирни, — сказал мистер Хулоен. — Никогда не думал, что вы с нами так поступите.

— А вы со мной как поступаете? — спросила миссис Кирни. Лицо ее залилось краской гнева, и вид у нее был такой, что она вот-вот бросится на кого-нибудь с кулаками.

— Я требую то, что мне следует, — сказала она.

— Вы могли бы помнить о приличиях, — сказал мистер Хулоен.

— Вот как?.. Я спрашиваю, заплатят ли моей дочери, и не могу добиться вежливого ответа.

Она вскинула голову и придала надменность

своему голосу:

— Вы должны говорить с секретарем. Это не мое дело. Я решаю важные вопросы и … ну все такое прочее.

— А я считал вас воспитанной дамой, — сказал мистер Хулоен и отошел.

После этого поведение миссис Кирни было осуждено бесповоротно: все одобрили решение комитета. Она стояла в дверях, бледная от ярости, ссорясь с мужем и дочерью и жестикулируя. Она дожидалась второго отделения в надежде, что устроители подойдут к ней. Но мисс Хили любезно согласилась проаккомпанировать один или два номера. Миссис Кирни пришлось посторониться, чтобы пропустить на сцену баритона и аккомпаниаторшу. С минуту она стояла неподвижно, как разгневанный каменный идол, но когда первые ноты романса донеслись до нее, она схватила накидку своей дочери и сказала мужу:

— Ступай за кебом!

Он сейчас же пошел. Миссис Кирни закутала дочь в накидку и вышла вслед за ним. В дверях она остановилась и гневно сверкнула глазами на мистера Хулоена.

— Я еще с вами не разделалась, — сказала она.

— Зато я с вами разделался, — сказал мистер

Хулоен.

Кэтлин послушно шла за матерью.

Мистер Хулоен начал шагать взад и вперед по комнате, чтобы остыть: он весь пылал.

— Вот так воспитанная дама! — восклицал он. — Нечего сказать!

— Вы сделали именно то, что следовало, Хулоен, — сказал мистер О'Мэдден Бэрк, в знак одобрения опираясь всем телом на зонтик.

Милость божия
Перевод И. К. Романовича

Два джентльмена, оказавшиеся в то время в уборной, хотели помочь ему встать: он был совершенно беспомощен. Он лежал ничком у подножия лестницы, с которой упал. Им удалось повернуть его лицом вверх. Шляпа откатилась на несколько шагов в сторону, а костюм был запачкан, потому что он лежал на грязном и мокром полу. Глаза у него были закрыты, и он дышал громко и хрипло. Тонкая струйка крови текла из уголка рта.

Два джентльмена и официант подняли его, перенесли по лестнице наверх и положили на пол в баре. Через минуту вокруг него образовалось кольцо любопытных. Бармен спрашивал всех, кто это такой и кто с ним был. Никто не знал, кто это такой, только один из официантов сказал, что он подавал джентльмену рюмку рома.

— Он был один? — спросил бармен.

— Нет, сэр. С ним было два джентльмена.

— А где они?

Никто не знал; чей-то голос произнес:

— Отойдите, ему дышать нечем. Он потерял сознание.

Кольцо любопытных раздвинулось, но вскоре снова дружно сомкнулось. Пятно крови темнело возле головы незнакомца на выложенном плитками полу. Бармен, встревоженный мертвенностью его лица, послал за полисменом.

Незнакомцу расстегнули воротник и развязали галстук. Он на мгновение открыл глаза, вздохнул и снова закрыл их. Один из двух джентльменов, поднявших его с пола, держал в руке помятый цилиндр. Бармен настойчиво спрашивал, не знает ли кто-нибудь, что это за человек и куда подевались его друзья. Дверь бара открылась, и вошел огромный констебль. Толпа, следовавшая за ним по переулку, собралась возле дверей; все протискивались вперед, стараясь заглянуть внутрь через стекла.

Бармен сейчас же начал рассказывать все, что знал. Констебль, молодой человек с грубым неподвижным лицом, слушал. Он медленно поворачивал голову из стороны в сторону, переводя взгляд с бармена на человека, лежавшего на полу, точно боясь оказаться жертвой обмана. Потом он снял перчатку, вынул из кармана записную книжку, послюнявил кончик карандаша

и приготовился составлять протокол. Он спросил подозрительно, с провинциальным акцентом:

— Что это за человек? Как его фамилия и адрес?

Какой-то молодой человек в спортивном костюме пробрался сквозь кольцо зевак. Он быстро опустился на колени подле пострадавшего и потребовал воды. Констебль тоже опустился на колени, чтобы помочь. Молодой человек смыл кровь с губ пострадавшего и попросил, чтобы ему принесли бренди. Констебль властным голосом повторял его требование до тех пор, пока не прибежал официант со стаканом. Пострадавшему влили в рот несколько капель бренди. Через несколько секунд он открыл глаза и посмотрел по сторонам. Он посмотрел на обступивших его зевак и, сообразив, где он, начал с трудом подниматься.

— Ну как, теперь лучше? — спросил молодой человек в спортивном костюме.

— Да ничего, — сказал пострадавший, стараясь встать.

Ему помогли. Бармен сказал что-то о больнице, и все стали давать советы. На голову пострадавшего надели помятый цилиндр. Констебль спросил:

— Где вы живете?

Человек ничего не ответил, только покрутил кончики усов. Он не придавал значения этому происшествию. Это пустяки, сказал он, всего лишь маленькая неприятность. Он говорил очень невнятно.

— Где вы живете? — повторил констебль.

Человек попросил, чтобы ему вызвали кеб. Пока решали, кто пойдет за ним, из дальнего конца бара вышел высокий подвижный светловолосый джентльмен в длинном желтом пальто с поясом. Увидев, что происходит, он воскликнул:

— Здорово, Том! Что это с тобой?

— А, ничего, — сказал пострадавший.

Вновь пришедший оглядел жалкую фигуру, стоявшую перед ним, и обратился к констеблю:

— Можете не беспокоиться, констебль. Я отвезу его домой. Констебль прикоснулся к шлему и ответил:

— Слушаюсь, мистер Пауэр!

— Ну, Том, — сказал мистер Пауэр, беря своего приятеля под руку. — Кости все целы? Ну как? Двигаться можешь?

Молодой человек в спортивном костюме взял пострадавшего под другую руку, и толпа расступилась.

— Как это тебя угораздило? — спросил мистер Пауэр.

— Джентльмен упал с лестницы, — сказал молодой человек.

— Я о'ень 'лаго'арен 'а', сэр, — сказал пострадавший.

— Что вы, что вы.

— А не 'ыпить ли на'?..

— Только не сейчас.

Все трое вышли из бара, и толпа постепенно рассеялась. Бармен повел констебля к лестнице осмотреть место происшествия. Оба сошлись на том, что джентльмен, видимо, оступился. Посетители вернулись к стойке, и один из официантов принялся смывать с пола следы крови.

Выйдя на Грэфтон-Стрит, мистер Пауэр подозвал кеб.

Пострадавший снова сказал, стараясь произносить слова как можно чище:

— О'ень 'лаго'арен 'а', сэр. На'еюсь, 'стрети'ся еще как-ни'удь. 'оя фа'илия Кернан.

Падение и усиливающаяся боль наполовину отрезвили его.

— Все в порядке, — сказал молодой человек.

Они обменялись рукопожатием. Мистеру Кернану помогли влезть в кеб, и он, пока мистер

Пауэр давал указания извозчику, поблагодарил молодого человека и выразил сожаление, что они не могут выпить по рюмочке.

— В другой раз, — сказал молодой человек.

Кеб поехал по направлению к Уэстморленд-Стрит. Когда он проезжал мимо Балласт-оффис, часы показывали половину десятого. Резкий восточный ветер с устья реки хлестал в лицо. Мистер Кернан весь съежился от холода. Мистер Пауэр попросил своего друга рассказать, как все это произошло.

— Не ‘огу, — ответил тот, — у ‘еня я’ык по’реж’ен.

— Покажи.

Мистер Пауэр наклонился и заглянул в рот мистера Кернана, но ничего не смог разглядеть. Он зажег спичку и, прикрывая ее другой рукой, снова заглянул в послушно раскрытый мистером Кернаном рот. Покачивание кеба то приближало, то удаляло спичку от раскрытого рта. Нижние зубы и десны были покрыты запекшейся кровью; кончик языка был, по-видимому, откушен. Спичку задуло.

— Ужасно, — сказал мистер Пауэр.

— А, ничего, — сказал мистер Кернан, закрывая рот и поднимая воротник своего грязного

пальто.

Мистер Кернан был коммивояжером старой школы и считал свою профессию достойной всяческого уважения. В городе его никогда не видели без сколько-нибудь приличного цилиндра и без гетр. Эти два предмета, говорил он, открывают перед человеком все двери. У него был свой Наполеон, великий Белчерн, которого он нередко вспоминал и считал примером для подражания. Современные методы ведения дел позволяли ему иметь лишь небольшую контору на Крау-Стрит, где на шторах были написаны название его фирмы и адрес — Лондон, Ист-Енд. На камине в этой небольшой конторе выстроился целый отряд свинцовых цыбиков, а на столе перед окном стояло пять или шесть чашек, обычно до половины наполненных черной жидкостью. Из этих чашек мистер Кернан дегустировал чай. Он отпивал глоток, медленно проводил языком по нёбу и, распробовав чай, сплевывал в камин. Потом, подумав, произносил свое суждение.

Мистер Пауэр, который был много моложе его, служил в Дублинском полицейском управлении. Кривая его восхождения по общественной лестнице пересекала кривую упадка его друга, но упадок мистера Кернана был не так заметен бла-

годаря тому, что в глазах многих друзей, знавших его на вершине успеха, он оставался по-прежнему человеком выдающимся. К числу таких друзей принадлежал и мистер Пауэр. Он держал свои долги в тайне, и знакомые любили посудачить на этот счет, но в общем он был симпатичный молодой человек.

Кеб остановился перед небольшим домом на Глэзневин-Роуд, и мистера Кернана ввели в дом. Жена пошла укладывать его в постель, а мистер Пауэр остался внизу, на кухне, и стал расспрашивать детей, в какой школе они учатся и что проходят. Дети, две девочки и мальчик, пользуясь полной безнаказанностью, затеяли с ним какую-то глупую возню. Его удивили их манеры и их произношение, и его лицо приняло озабоченное выражение. Вскоре в кухню торопливо вошла миссис Кернан, восклицая:

— Хорош, нечего сказать! Уж он доведет себя когда-нибудь бог знает до чего, помяните мое слово. Он пьет с самой пятницы.

Мистер Пауэр счел своим долгом объяснить ей, что он тут ни при чем, что он попал на место происшествия совершенно случайно. Миссис Кернан, вспомнив услуги, которые мистер Пауэр не раз оказывал ей во время семейных неурядиц,

равно как и многие небольшие, но своевременные займы, сказала:

— Ах, что вы, мистер Пауэр, уж мне бы этого могли не говорить. Я знаю, вы ему настоящий друг, не то что иные прочие. Они только на то и годятся, чтобы не пускать его домой, к жене и детям, пока он при деньгах. Друзья, нечего сказать! А с кем он был нынче вечером, хотела бы я знать?

Мистер Пауэр покачал головой, но ничего не сказал.

— Мне так жаль, — продолжала она, — что мне нечем вас угостить. Но если вы подождете минутку, я пошлю за чем-нибудь к Фогарти, на угол.

Мистер Пауэр встал.

— Мы ждали, что он вернется домой с деньгами. Похоже, он забыл и думать, что у него семья.

— Ничего, миссис Кернан, — сказал мистер Пауэр, — теперь он у нас начнет новую жизнь. Я поговорю с Мартином. Он самый подходящий для этого человек. Мы зайдем сюда как-нибудь на днях и все обсудим.

Она проводила его до двери. Кебмен расхаживал взад и вперед по тротуару, притоптывая ногами и размахивая руками, чтобы согреться.

— Спасибо, что вы привезли его домой, — ска-

зала она.

— Что вы, что вы, — сказал мистер Пауэр.

Он сел в экипаж. Когда экипаж тронулся, он весело помахал ей шляпой.

— Мы сделаем из него человека, — сказал он. — Спокойной ночи, миссис Кернан.

Удивленный взгляд миссис Кернан следовал за кебом, пока он не скрылся из виду. Тогда она отвела глаза, вошла в дом и вывернула карманы своего супруга.

Миссис Кернан была живая, практичная женщина средних лет. Недавно она отпраздновала свою серебряную свадьбу и подтвердила привязанность к супругу, провальсировав с ним несколько туров под аккомпанемент мистера Пауэра. Когда мистер Кернан за ней ухаживал, он казался ей не лишенным галантности; и до сих пор, услышав о какой-нибудь свадьбе, она спешила к дверям церкви и при виде новобрачных живо вспоминала, как она вышла из церкви Звезда моря в Сэндимаунте[83] с жизнерадостным упитанным мужчиной в элегантном сюртуке и сиреневых брюках, который одной рукой поддерживал ее, а в другой небрежно нес новенький

---

[83] notes: 83

Звезда моря — одно из обращений к Деве Марии у католиков. Сэндимаунт — пригород Дублина.

цилиндр. Через три недели супружеская жизнь показалась ей утомительной, а позже, когда эта жизнь начала казаться ей нестерпимой, она стала матерью. Обязанности матери не представляли для нее непреодолимых трудностей, и в течение двадцати пяти лет она умело вела хозяйство своего мужа. Двое старших сыновей уже встали на ноги. Один работал в мануфактурном магазине в Глазго, а другой служил в чайной фирме в Белфасте. Они были хорошие сыновья, исправно писали письма, и иногда посылали домой деньги. Остальные дети еще учились в школе.

На следующий день мистер Кернан послал письмо в контору и остался в постели. Жена сварила ему мясной бульон и хорошенько отругала. Она принимала его частую невоздержанность как нечто само собой разумеющееся, заботливо лечила его, когда он был болен, и всегда старалась заставить его съесть завтрак перед уходом на службу. Бывают мужья и хуже. Он ни разу не бил ее с тех пор, как выросли мальчики, и она знала, что он готов выполнить любое, даже пустячное ее поручение, если для этого надо пройти даже до

самого конца Томас-Стрит и обратно[84].

Через день вечером друзья пришли навестить его. Она проводила их в спальню, воздух там был спертый, и поставила им стулья перед камином. Язык мистера Кернана еще побаливал, и от этого он пребывал в несколько раздраженном состоянии, сейчас же он был кроток, как ангел. Мистер Кернан сидел в постели, обложенный подушками, и легкий румянец придавал его пухлым щекам сходство с тлеющими головнями. Он извинился за беспорядок в комнате, но в то же время посмотрел на своих гостей слегка горделиво, с гордостью ветерана.

Он и не подозревал, что является жертвой заговора, о котором его друзья, мистер Кэннингем, мистер Мак-Кой и мистер Пауэр, сообщили миссис Кернан в зале. Идея принадлежала мистеру Пауэру, но осуществление было поручено мистеру Каннингему. Мистер Кернан происходил из протестантской семьи, и, хотя незадолго до женитьбы перешел в католичество, порога церкви он не переступал добрых двадцать лет. К тому же

---

[84] notes: 84

Ирония Джойса в том. что на Томас-Стрит, которую от Крау-Стрит, где жил Кернан, отделяла примерно миля, расположен пивоваренный завод «Гиннесс», производящий темное ирландское пиво. Посетителям здесь бесплатно выдавали стакан пива.

в кругу близких друзей он позволял себе насмешки над католической верой.

Мистер Кэннингем как нельзя лучше подходил для такого дела. Он был давним сослуживцем мистера Пауэра. В семейной жизни он был не слишком счастлив. Все очень жалели его: было известно, что он женат на женщине с дурной репутацией запойной пьяницы. Он шесть раз заново обставлял для нее дом, и каждый раз она закладывала обстановку на его имя.

Все уважали беднягу Мартина Каннингема. Он был весьма порядочный человек, влиятельный и умный. Его понимание людей, острое от природы и отточенное, как бритва, постоянным соприкосновением с судебными делами, умерялось краткими погружениями в воды умозрительной философии. Он был человек образованный. Друзья склонялись перед его суждениями и находили, что лицом он похож на Шекспира.

Когда ей сообщили о заговоре, миссис Кернан сказала:

— Предоставляю все это вам, мистер Кэннингем.

После четверти века супружеской жизни у нее осталось очень мало иллюзий. Религия давно стала для нее привычкой, и она была уверена,

что человек в возрасте ее мужа не может заметно измениться и останется таким теперь уже до самой смерти. Конечно, соблазнительно было усмотреть перст божий в постигшем его несчастье, и, не бойся она показаться кровожадной, она не преминула бы сказать его друзьям, что язык мистера Кернана ничуть не пострадает, если станет немного короче. Впрочем, мистер Кэннингем человек дельный; а религия есть религия. Если этот план и не принесет пользы, то вреда он, во всяком случае, не нанесет. Ее вера не была чрезмерной. Она твердо верила в сердце Христово как в самую надежную из всех католических святынь и одобрительно относилась к таинствам. Ее мир был ограничен кухней, но, случись что-нибудь, она поверила бы в ведьм, как в святого духа.

Гости начали говорить о происшествии. Мистер Кэннингем сказал, что помнит похожий случай. Один семидесятилетний старик откусил кончик языка во время эпилептического припадка, и язык зажил так хорошо, что даже следов не осталось.

— Ну, мне не семьдесят, — сказал больной.

— Боже сохрани, — сказал мистер Кэннингем.

— А теперь он у вас не болит? — спросил мистер Мак-Кой. Мистер Мак-Кой был в свое время

довольно известным тенором. Его жена, некогда сопрано, теперь за скромное вознаграждение обучала детей музыке. Линия его жизни не была кратчайшим расстоянием между двумя точками, и бывали периоды, когда ему приходилось всячески изворачиваться, чтобы как-нибудь свести концы с концами. Он служил в управлении Мидлендской железной дороги, был сборщиком объявлений для «Айриш таймс» и «Фримен»[85], комиссионером одной угольной фирмы, частным сыщиком, служил в конторе помощника шерифа, а недавно поступил на место секретаря к коронеру города Дублина. По своей новой должности он относился к случаю с мистером Кернаном с профессиональным интересом.

— Болит? Не очень, — ответил мистер Кернан. — Но ощущение отвратительное. Точно сейчас вырвет.

— Это все от спиртного, — твердо сказал мистер Каннингем.

— Нет, — сказал мистер Кернан. — Должно быть, меня продуло на извозчике. Что-то все вре-

---

[85] notes: 85

«Айриш таймс» — газета консервативного толка, проводила проанглийскую политику. «Фримен джорнел», напротив, либерально-умеренный орган, поддерживал гомруль. То, что персонаж Джойса работает и для той, и для другой газеты, указывает на полное отсутствие у него определенных политических убеждений.

мя подступает к горлу, мокрота или…

— Плевра, — сказал мистер Мак-Кой.

— Она словно поднимается в горло откуда-то снизу: прямо тошнит.

— Да, да, — сказал мистер Мак-Кой, — это бронхи.

Он с вызывающим видом посмотрел одновременно на мистера Каннингема и мистера Пауэра. Мистер Кэннингем поспешно кивнул, а мистер Пауэр сказал:

— А, что там, все хорошо, что хорошо кончается.

— Я очень обязан тебе, старина, — сказал больной.

Мистер Пауэр замахал руками.

— Те двое, которые были со мной…

— А кто с вами был? — спросил мистер Кэннингем.

— Один субъект. Забыл, как его зовут. Черт, как же его зовут? Такой маленький, рыжеватый…

— А еще кто?

— Харфорд.

— Гм, — сказал мистер Кэннингем.

Все примолкли. Было известно, что он черпает сведения из секретных источников. В данном случае междометие имело нравоучительный смысл.

Мистер Харфорд иногда возглавлял небольшой отряд, который по воскресеньям сразу же после мессы отправлялся за город в какую-нибудь пивнушку подальше, где вся компания выдавала себя за путешественников[86]. Но спутники мистера Харфорда никак не могли простить ему его происхождения. Он начал свою карьеру с темных делишек: ссужал рабочим небольшие суммы под проценты. Впоследствии он вошел в долю с коротеньким толстеньким человечком, неким мистером Голдбергом из Ссудного банка на Лиффи. И хотя с евреями его связывал лишь их старинный промысел, друзья-католики, которым приходилось туговато, когда он сам или его доверенные лица подступали с закладными, втайне торжествовали, что у него родился сын-идиот, и видели в этом справедливую божью кару, настигшую гнусного ростовщика. Правда, в другие минуты они вспоминали его хорошие черты.

— Куда он только делся, — сказал мистер Кернан.

Он хотел, чтобы подробности этого происшествия остались неизвестными. Пусть уж лучше друзья думают, что произошла какая-то ошибка,

---

[86] notes: 86

Спиртные напитки в Ирландии в те годы продавались лишь в определенные часы. Исключение делалось только для путешественников.

что они с мистером Харфордом случайно разминулись. Его друзья, отлично знавшие, как мистер Харфорд ведет себя на попойках, молчали. Мистер Пауэр снова сказал:

— Все хорошо, что хорошо кончается.

Мистер Кернан сейчас же переменил разговор.

— А славный он парень, этот студент-медик, — сказал он. — Не будь его…

— Да, не будь его, — сказал мистер Пауэр, — пришлось бы посидеть неделю за решеткой, без права заменить наказание штрафом.

— Да, да, — сказал мистер Кернан, стараясь припомнить. — Теперь припоминаю, там был полицейский. Славный паренек, кажется. Не понимаю, как все это произошло.

— Произошло то, что вы наклюкались, Том, — сказал мистер Кэннингем внушительно.

— Что правда, то правда, — в тон ему ответил мистер Кернан.

— Кажется, это вы спровадили констебля, Джек, — сказал мистер Мак-Кой.

Мистер Пауэр был не в восторге, что его назвали по имени. Он не отличался чопорностью, но не мог забыть недавнюю выходку мистера Мак-Коя. Мак-Кой объявил, что его жена собирается в турне по стране. Хотя никакого турне не было и

в помине, он выцыганил у знакомых чемоданы и портпледы. Мистер Пауэр возмущался не столько тем, что он сам оказался жертвой, сколько тем, что это было низкопробное мошенничество. Он ответил на вопрос, но при этом сделал вид, что он исходил от мистера Кернана.

Рассказ привел мистера Кернана в негодование. Он никогда не забывал, что он гражданин Дублина, желал, чтобы его отношения с городом были основаны на взаимном уважении, и возмущался всяким оскорблением, нанесенным ему теми, кого он величал деревенскими чурбанами.

— Неужели для этого мы платим налоги? — спросил он. — Чтобы кормить и одевать этих дуралеев… а они — дуралеи, больше ничего.

Мистер Каннингем рассмеялся. Он был служащим полицейского управления только в служебные часы.

— А чего от них еще ждать, Том? — сказал он.

И, подражая грубому провинциальному выговору, он скомандовал:

— Сорок пять, лови свою капусту!

Все засмеялись. Мистер Мак-Кой, которому хотелось во что бы то ни стало влезть в разговор, притворился, будто никогда не слышал этой истории. Мистер Каннингем сказал:

— Знаете, дело происходит в казарме, где обламывают этих здоровенных деревенских верзил. Сержант выстраивает их всех в одну шеренгу вдоль стены с тарелками в руках. Он подкрепил свой рассказ комическими жестами.

— Обед, знаете. А на столе перед ним здоровенная миска с капустой, а в руках здоровенный уполовник, величиной с лопату. И вот берет он полный уполовник капусты и швыряет ее через всю комнату, а те, бедняги, должны ловить, каждый на свою тарелку: сорок пять — лови свою капусту!

Все снова рассмеялись, но мистер Кернан продолжал возмущаться. Он сказал, что следовало бы написать об этом в газету.

— Эти обезьяны в мундирах, — сказал он, — воображают, будто они имеют право командовать всеми. Уж не вам, Мартин, говорить мне, что это за публика.

Мистер Кэннингем согласился, но с оговоркой.

— У нас так же, как всюду, — сказал он. — Попадается дрянь, а попадаются и хорошие люди.

— Да, конечно, попадаются и хорошие люди, не спорю,– сказал мистер Кернан, удовлетворенный.

— А все-таки лучше не иметь с ними никакого

дела, — сказал мистер Мак-Кой. — Так я считаю.

Миссис Кернан вошла в комнату и, поставив на стол поднос, сказала:

— Угощайтесь, пожалуйста.

Мистер Пауэр встал, собираясь исполнять обязанности хозяина, и предложил ей свой стул. Она отказалась, говоря, что ей надо гладить, и, перемигнувшись за спиной мистера Пауэра с мистером Каннингемом, пошла к двери. Супруг окликнул ее:

— А для меня у тебя ничего нет, пупсик?

— Для тебя? Шиш с маслом для тебя, — язвительно сказала миссис Кернан.

Ее супруг крикнул ей вдогонку:

— Для мужа — ничего!

Его жалостливый голос и смешная гримаса вызвали всеобщий смех, под который гости стали разбирать свои стаканы с портером.

Джентльмены осушили стаканы, поставили их опять на стол и с минуту просидели молча. Потом мистер Кэннингем повернулся к мистеру Пауэру и сказал как бы вскользь:

— Вы кажется, сказали, в четверг вечером, Джек?

— Да, в четверг, — сказал мистер Пауэр.

— Превосходно! — быстро сказал мистер Кэн-

нингем.

— Можно бы встретиться в баре Мак-Аули, — сказал мистер Мак-Кой. — Это, пожалуй, удобней всего.

— Только не опаздывать, — серьезно сказал мистер Пауэр, — а то там будет полно народу.

— Давайте назначим на половину восьмого, — сказал мистер Мак-Кой.

— Превосходно! — сказал мистер Кэннингем.

— Итак, решено, в половине восьмого у Мак-Аули!

На секунду воцарилось молчание. Мистер Кернан ждал, посвятят ли его друзья в их планы. Потом он спросил:

— Что это вы затеяли?

— О, ничего особенного, — сказал мистер Кэннингем. — Так, сговариваемся насчет одного дельца в четверг.

— В оперу, что ли, собрались? — сказал мистер Кернан.

— Нет, нет, — сказал мистер Кэннингем уклончивым тоном, — это всего лишь одно дельце… духовного порядка.

— А, — сказал мистер Кернан.

Снова наступило молчание. Потом мистер Пауэр прямо сказал:

— Если по правде, Том, мы собираемся говеть.

— Да, — сказал мистер Кэннингем, — мы с Джеком и вот Мак-Кой — мы все решили почиститься с песочком.

Он произнес эти слова просто, но с чувством и, ободренный своим собственным голосом, продолжал:

— Видишь ли, уж если говорить откровенно, так все мы порядочные негодяи, все до единого. Да, все до единого, — добавил он с грубоватой снисходительностью, обращаясь к мистеру Пэуэру. — Признайтесь-ка!

— Признаюсь, — сказал мистер Пэуэр.

— И я признаюсь, — сказал мистер Мак-Кой.

— Вот мы и решили все вместе почиститься с песочком, — сказал мистер Кэннингем.

Какая-то мысль, казалось, осенила его. Он вдруг повернулся к больному и сказал:

— Знаете, Том, что мне пришло сейчас в голову? Присоединялись бы к нам: без четырех углов дом не строится.

— Хорошая мысль, — сказал мистер Пауэр. — Вот и пошли бы все вчетвером.

Мистер Кернан ничего не сказал. Предложение мистера Каннингема ему ничего не говорило, но, чувствуя, что какие-то религиозные орга-

низации пекутся о нем, он счел своим долгом, ради поддержания достоинства, проявить некоторое упорство. Он довольно долго не принимал участия в разговоре, а только слушал с видом спокойной враждебности, как его друзья рассуждают об иезуитах.

— Я не такого уж плохого мнения об иезуитах, — вмешался он наконец в разговор. — Это культурный орден. И намерения у них, по-моему, благие.

— Это величайший из всех орденов, Том, — с жаром подхватил мистер Кэннингем. — В церковной иерархии генерал ордена иезуитов следует непосредственно за папой.

— Какой тут может быть разговор, — сказал мистер Мак-Кой, — если хотите, чтобы дело было сделано чисто, обращайтесь к иезуитам. У них всюду рука найдется. Я вам расскажу один случай…

— Иезуиты — замечательный народ, — сказал мистер Пауэр.

— И вот что удивительно, — сказал мистер Каннингем, — все остальные монашеские ордена рано или поздно распадались, но иезуитский орден — никогда. Он никогда не приходил в упадок.

— В самом деле? — спросил мистер Мак-Кой.

— Это факт, — сказал мистер Каннингем. — Так говорит история.

— А посмотрите-ка на их церкви, — сказал мистер Пауэр, — Посмотрите, какая у них паства.

— Иезуиты держатся за аристократию, — сказал мистер Мак-Кой.

— Известное дело, — сказал мистер Пауэр.

— Да, — сказал мистер Кернан. — Потому я их и уважаю. Они не то что некоторые представители белого духовенства, невежественные, самоуверенные…

— Они все хорошие люди, — сказал мистер Кэннингем, — Ирландское духовенство пользуется уважением повсюду.

— Еще бы, — сказал мистер Пауэр.

— Не то что духовенство некоторых стран, на континенте, — сказал мистер Мак-Кой, — что и звания своего недостойно.

— Может быть, вы и правы, — сказал мистер Кернан, смягчаясь.

— Разумеется, прав, — сказал мистер Каннингем. — Уж мне ли не знать людей, с моим-то опытом.

Они выпили снова, подавая пример друг другу. Мистер Кернан что-то прикидывал про себя.

Разговор произвел на него впечатление. Он был высокого мнения о мистере Каннингеме как о знатоке людей и хорошем физиономисте. Он попросил его рассказать подробнее.

— Исповедовать будет отец Публдом, — сказал мистер Каннингем. — Исповедь будет общая. Мы ведь народ занятой.

— Он будет не слишком суров с нами, Том, — сказал мистер Пауэр вкрадчиво.

— Отец Публдом? Отец Публдом? — сказал больной.

— Ну, вы же его знаете, Том, — убедительно сказал мистер Каннингем. — Такой отличный, жизнерадостный малый! Не чуждается мира сего, как и мы, грешные.

— А-а… Да, кажется, я его знаю. Такой красно-лицый, высокий?

— Он самый.

— А скажите, Мартин… Он хороший проповедник?

— Да как вам сказать… Это, знаете, не то чтобы настоящая проповедь. Так, поговорит с нами по душам, знаете, попросту.

Мистер Кернан погрузился в размышления. Мистер Мак-Кой сказал:

— Отец Том Бэрк[87] — вот это был дока!

— Да, отец Том Бэрк, — сказал мистер Кэннингем, — тот был прирожденный оратор. Вы его когда-нибудь слышали, Том?

— Слышал ли я его? — с обидой сказал больной. — Еще бы! Я слышал его…

— А между прочим, говорят, что он был не очень силен по части богословия, — сказал мистер Кэннингем.

— В самом деле? — сказал мистер Мак-Кой.

— Ну, разумеется, не так чтобы уж совсем, знаете. Но все-таки говорят, что иногда в его проповеди было что-то не совсем то.

— Да… вот это был человек! — сказал мистер Мак-Кой.

— Я слышал его однажды, — продолжал мистер Кернан. — Забыл теперь, о чем была проповедь. Мы с Крофтоном сидели сзади в… в партере, что ли… как это…

— В главном приделе, — сказал мистер Кэннингем.

— Да, сзади, недалеко от двери. Забыл, о чем

---

[87] notes: 87

Томас Николас Бэрк (1830–1883) — оратор, известный не только в Ирландии, но также в Англии и Америке. Особую популярность ему принесла серия лекций «Пороки английского правления в Ирландии». Известность его носила несколько скандальный характер.

он… Ах да. он говорил о папе римском, о покойном папе. Теперь вспомнил. Честное слово, великолепная была проповедь! А голос! Господи ты боже мой, вот был голос! Он назвал его «Узником Ватикана»[88]. Помню, как Крофтон сказал мне, когда мы выходили…

— Но ведь Крофтон оранжист[89], не так ли? — сказал мистер Пауэр.

— Да, конечно, — сказал мистер Кернан, — к тому же завзятый оранжист. Мы тогда пошли в пивную Батлера на Мур-Стрит, честное слово, я был взволнован как никогда и помню, он мне сказал, вот так, слово в слово: «Кернан, — говорит, — мы с вами поклоняемся разным алтарям, — говорит, — но вера наша едина». Меня даже поразило, как это он здорово сказал.

— Правильные слова, — сказал мистер Пауэр.

---

[88] notes: 88

Имеется в виду папа Пий IX (1792, папст. 1846–1878). В период борьбы Италии за объединение занял весьма реакционную позицию, противился присоединению Рима к королевству. В 1870 г. король Виктор Эммануил II, который до этого пытался договориться с папой компромиссным путем, приказал своим солдатам вступить в Рим. Папа, видя бессмысленность сопротивления, объявил, что «уступает силе», а сам заперся в Ватикане и демонстративно провозгласил себя перед всем миром «пленником».

[89] notes: 89

Здесь: протестант. Оранжист — член ордена оранжистов, организованного в 1795 г.; главная цель оранжистов — укрепить колониальную связь Ирландии с Великобританией.

— В церкви всегда были прямо толпы протестантов, когда отец Том говорил проповедь.

— Между нами не такая уж большая разница, — сказал мистер Мак-Кой. — Мы одинаково верим в…

Он на мгновение замялся.

— …в спасителя. Только они не верят в папу римского и в Пресвятую Деву.

— Но, разумеется, — сказал мистер Кэннингем спокойно и внушительно, — наша религия — единственно истинная, наша древняя, святая вера.

— Даже не говорите, — сказал мистер Кернан с горячностью.

В дверях спальни показалась миссис Кернан; она объявила:

— К тебе гость пришел!

— Кто?

— Мистер Фогарти.

— А-а, идите-ка сюда!

Бледное продолговатое лицо появилось в освещенной части комнаты. Линия бровей, изогнувшихся над приятно удивленными глазами, повторяла дугообразную линию свисающих усов. Мистер Фогарти был скромный бакалейщик. В свое время он был владельцем одного из дуб-

линских баров, но потерпел крах, потому что его финансовое положение позволяло ему иметь дело лишь с второразрядными винокурами и пивоварами. Тогда он открыл небольшую лавку на Глэзневин-Роуд, где, как он надеялся, его манеры помогут ему снискать благоволение местных хозяек. Он держался непринужденно, заговаривал с маленькими детьми, говорил медленно и раздельно. Вообще был человек культурный.

Мистер Фогарти принес с собой подарок — полпинты хорошего виски. Он вежливо осведомился о здоровье мистера Кернана, поставил свой подарок на стол и, почувствовав себя равным, присоединился к компании друзей. Мистер Кернан весьма оценил подарок: он помнил, сколько он должен мистеру Фогарти по старым счетам. Он сказал:

— Я никогда в вас не сомневался, старина. Открой-ка, Джек, ладно?

Мистер Пауэр снова исполнил обязанности хозяина. Стаканы ополоснули, в каждый налили по маленькой порции виски. Разговор явно оживился. Мистер Фогарти, сидя на краешке стула, слушал с особенным вниманием.

— Папа Лев XIII[90], — сказал мистер Кэннингем, — был одним из самых ярких людей своей эпохи. Его великим начинанием было воссоединение римско-католической церкви с православной. Это была цель его жизни.

— Мне приходилось слышать, что он был одним из культурнейших людей в Европе, — сказал мистер Пауэр. — Это помимо того, что он был папой.

— Да, — сказал мистер Кэннингем, — пожалуй, самым культурным. Его девиз, когда он вступил на папский престол, был «Lux на Lux» — «Свет на свету».

— Нет, нет, — сказал мистер Фогарти нетерпеливо. — По-моему, здесь вы не правы. Его девиз был, по-моему, «Lux в Tenebris» — «Свет во тьме»[91].

---

[90] notes: 90

Лев XIII (1810, папст. 1878–1903), одна из наиболее значительных фигур в истории папства в новое время. Не отступая от церковно-политической программы своего предшественника, Пия IX, в частности не желая примириться с потерей светской власти, Лев XIII проводил более гибкую политику, пытаясь использовать в интересах католической церкви некоторые элементы буржуазной демократии, например парламентаризм. Противник национально-освободительного движения в Ирландии. Стремился возвысить значение папства посредством усиления влияния католической церкви не только на Западе, но и на Востоке. Как писатель, Лев XIII известен несколькими политико-богословскими трактатами и стихотворениями, написанными изящной латынью.

[91] notes: 91

Ошибка: девиз Льва XIII был «Lumen in Coelo» *(лат.)* — «Свет в небесах».

— Ну да, — сказал мистер Мак-Кой, — Tenebrae.

— Позвольте, — сказал мистер Кэннингем непреклонно, — его девиз был «Lux на Lux». А девиз Пия IX, его предшественника, был «Crux на Crux», то есть «Крест на кресте»[92]; в этом и есть разница между их понтификатами.

Поправку приняли. Мистер Кэннингем продолжал:

— Папа Лев, знаете, ученый и поэт.

— Да, у него волевое лицо, — сказал мистер Кернан.

— Да, — сказал мистер Каннингем. — Он писал стихи на латыни.

— Неужели? — сказал мистер Фогарти.

Мистер Мак-Кой с довольным видом отпил виски, покачал головой, выражая этим свое отношение и к напитку и к тому, что сказал его друг, и сказал:

— Это, я вам скажу, не шутка.

— Нас этому не обучали, Том, — сказал мистер Пауэр, следуя примеру мистера Мак-Коя, — в нашей приходской школе.

— Ну и что ж, хоть обстановка там не парадная, немало дельных людей вышло оттуда, — сказал

---

[92] notes: 92

Неточность: девиз Пия IX был «Crux de Cruce» *(лат.)* — «Страдание от креста».

мистер Кернан нравоучительно. — Старая система была лучше — простое, честное воспитание. Без всяких этих современных вывертов…

— Верно, — сказал мистер Пауэр.

— Никаких роскошеств, — сказал мистер Фогарти.

Он сделал особое ударение на этом слове и выпил с серьезным видом.

— Помню, я как-то читал, — сказал мистер Каннингем, — что одно из стихотворений папы Льва было об изобретении фотографии — по-латыни, разумеется.

— Фотографии! — воскликнул мистер Кернан.

— Да, — сказал мистер Каннингем.

Он тоже отпил из своего стакана.

— Да, как подумаешь, — сказал мистер Мак-Кой, — разве фотография — не замечательная штука?

— Конечно, — сказал мистер Пауэр, — великим умам многое доступно.

— Как сказал поэт: «Великие умы к безумию близки»[93], — заметил мистер Фогарти.

---

[93] notes: 93

Правильно: «Великие умы к безумию склонны» — строчка из политической сатиры английского поэта, драматурга и критика Джона Драйдена (1631– 1700) «Авессалом и Ахитофель» (1681), где прославляется монархия. Ирония Джойса в том, что ирландец, который хочет казаться либеральным и просвещенным, вспоминает именно это произведение Драйдена.

Мистер Кернан был, казалось, чем-то обеспокоен. Он старался вспомнить какое-нибудь заковыристое положение протестантского богословия; наконец он обратился к мистеру Каннингему.

— Скажите-ка, Мартин, — сказал он, — а разве не правда, что некоторые из пап — конечно, не теперешний и не его предшественник, а некоторые из пап в старину — были не совсем… знаете ли… на высоте?

Наступило молчание. Мистер Кэннингем сказал:

— Да, разумеется, были и среди них никудышные люди… Но вот что самое поразительное: ни один из них, даже самый отчаянный пьяница, даже самый… самый отъявленный негодяй, ни один из них никогда не произнес ex cathedra[94] ни одного слова ереси. Ну, разве это не поразительно?

— Поразительно, — сказал мистер Кернан.

— Да, потому что, когда папа говорит ex cathedra, — объяснил мистер Фогарти, — он непогрешим.

— Да, — сказал мистер Кэннингем.

— А-а, слыхал я о непогрешимости папы. Пом-

---

[94] notes: 94

Букв.: с кафедры *(лат.).* По католической догматике, когда папа проповедует ex cathedra, он непогрешим. Это положение было утверждено Ватиканским собором 1870 г.

ню, когда я был помоложе… Или это было?..

Мистер Фогарти прервал его. Он взял бутылку и подлил всем понемногу. Мистер Мак-Кой, видя, что на всех не хватит, начал уверять, что он еще не кончил первую порцию. Раздался ропот возмущения, но вскоре все согласились и замолчали, с удовольствием вслушиваясь в приятную музыку виски, льющегося в стаканы.

— Вы что-то сказали, Том? — спросил мистер Мак-Кой.

— Догмат о непогрешимости папы, — сказал мистер Кэннингем, — это была величайшая страница во всей истории церкви.

— А как это произошло, Мартин? — спросил мистер Пауэр.

Мистер Кэннингем поднял два толстых пальца.

— В священной коллегии кардиналов, архиепископов и епископов только двое были против, тогда как все остальные были за. Весь конклав высказался единогласно за непогрешимость, кроме них. Нет! Они не желали этого допустить!

— Ха! — сказал мистер Мак-Кой.

— И были это — один немецкий кардинал, по

имени Доллинг… или Доулинг… или…[95]

— Ну, уж Доулинг-то немцем не был, это как пить дать, — сказал мистер Пауэр со смехом.

— Словом, один из них был тот знаменитый немецкий кардинал, как бы его там ни звали; а другой был Джон Мак-Хейл[96].

— Как? — воскликнул мистер Кернан. — Неужели Иоанн Туамский?

— Вы уверены в этом? — спросил мистер Фогарти с сомнением. — Я всегда думал, что это был какой-то итальянец или американец.

— Иоанн Туамский, — повторил мистер Каннингем, — вот кто это был.

Он выпил; остальные последовали его примеру. Потом он продолжал:

— И вот они все собрались там, кардиналы, и епископы, и архиепископы со всех концов земли, а эти двое дрались так, что клочья летели, пока

---

[95] notes: 95

Иоганн Доллингер (1799–1890) не был кардиналом и участником Ватиканского собора 1870 г. Священник, политический деятель, историк-богослов, он активно выступал против доктрины о непогрешимости папы. Это привело к тому, что в 1871 г. он был лишен сана.

[96] notes: 96

Джон Мак-Хейл (1791–1881), Иоанн Туамский, ирландский архиепископ из Туама, участник борьбы ирландцев за независимость. Был противником доктрины о непогрешимости папы, но когда она тем не менее была утверждена как догмат Ватиканским собором, подчинился решению и официально проповедовал непогрешимость папы.

сам папа не поднялся и не провозгласил непогрешимость догматом церкви ex cathedra. И в эту самую минуту Мак-Хейл, который так долго оспаривал это, поднялся и вскричал громовым голосом: «Credo!»

— «Верую!» — сказал мистер Фогарти.

— «Credo!» — сказал мистер Каннингем. — Это показывает, как глубока была его вера. Он подчинился в ту минуту, когда заговорил папа.

— А как же Доулинг?

— Немецкий кардинал отказался подчиниться. Он оставил церковь.

Слова мистера Каннингема вызвали в воображении слушающих величественный образ церкви. Их потряс его низкий, хриплый голос и произнесенные им слова веры и послушания. Вытирая руки о фартук, в комнату вошла миссис Кернан и оказалась среди торжественного молчания. Боясь нарушить его, она облокотилась на спинку кровати.

— Я как-то раз видел Джона Мак-Хейла, — сказал мистер Кернан, — и не забуду этого до самой смерти.

Он обратился за подтверждением к жене:

— Я ведь рассказывал тебе?

Миссис Кернан кивнула.

— Это было на открытии памятника сэру Джону Грею. Эдмунд Двайер Грей[97] произносил речь, нес какую-то околесицу, а этот старик сидел тут же, знаете, такой суровый, так и сверлил его глазами из-под косматых бровей.

Мистер Кернан нахмурился и, опустив голову, как разъяренный бык, так и впился глазами в жену.

— Господи! — воскликнул он, придав своему лицу обычное выражение. — В жизни не видел, чтобы у человека был такой взгляд. Он точно говорил: «Я тебя насквозь вижу, сопляк». Ну прямо ястреб.

— Никто из Греев гроша ломаного не стоил, — сказал мистер Пауэр.

Снова наступило молчание. Мистер Пауэр повернулся к миссис Кернан и сказал с внезапной веселостью:

— Ну, миссис Кернан, мы тут собираемся сделать из вашего супруга такого благочестивого и богобоязненного католика, что просто загляденье.

---

[97] notes: 97

Джон Грей (1816–1875), ирландский патриот, издатель, государственный деятель, немало сделавший для благоустройства Дублина; его сын Эдмунд Двайер Грей (1845–1888), политический деятель, как и отец, умеренный сторонник гомруля.

Он обвел рукой всех присутствующих.

— Мы решили все вместе исповедаться в своих грехах, и видит бог, нам бы давно не мешало это сделать.

— Я не возражаю, — сказал мистер Кернан, улыбаясь несколько нервно.

Миссис Кернан решила, что разумней будет скрыть свое удовольствие. Поэтому она сказала:

— Кого мне жаль, так это священника, которому придется тебя исповедовать.

Выражение лица мистера Кернана изменилось.

— Если ему это не понравится, — сказал он резко, — пусть он идет... еще куда-нибудь. Я только расскажу ему свою скорбную повесть. Не такой уж я негодяй.

Мистер Кэннингем поспешно вмешался в разговор.

— Мы все отрекаемся от дьявола, — сказал он, — но не забываем его козней и соблазнов.

— Отыди от меня, сатана![98] — сказал мистер Фогарти, смеясь и поглядывая на всех присутствующих.

---

[98] notes: 98

Несколько искаженные евангельские слова (Еванг. от Матфея, 4, 10). Правильно: «Отойди от меня, Сатана» — последние слова Иисуса после искушения в пустыне.

Мистер Пауэр ничего не сказал. Он чувствовал, что все идет, как он задумал. И на его лице было написано удовлетворение.

— Всего-то и дел, — сказал мистер Кэннингем, — постоять некоторое время с зажженными свечами и возобновить обеты, данные при крещении.

— Да, главное, Том, — сказал мистер Мак-Кой, — не забудьте про свечу.

— Что? — сказал мистер Кернан. — Мне стоять со свечой?

— Непременно, — сказал мистер Кэннингем.

— Нет уж, знаете, — сказал мистер Кернан возмущенно. — всему есть предел. Я исполню все что полагается, по всем правилам. Буду говеть, и исповедоваться, и... и все, что там полагается. Но — никаких свечей! Нет, черт возьми, все что угодно, только не свечи!

Он покачал головой с напускной серьезностью.

— Нет, вы только послушайте! — сказала его жена.

— Все что угодно, только не свечи, — сказал мистер Кернан, чувствуя, что произвел на аудиторию должное впечатление, и продолжая мотать головой из стороны в сторону. — Все что угодно,

только не этот балаган!

Друзья от души рассмеялись.

— Вот полюбуйтесь, нечего сказать — примерный католик! — сказала его жена.

— Никаких свечей! — упрямо повторил мистер Кернан. — Только не это!

Иезуитская церковь на Гардинер-Стрит была почти полна, и тем не менее каждую минуту боковая дверь открывалась, кто-нибудь входил и шел на цыпочках в сопровождении послушника по приделу, пока и для него не находилось место. Все молящиеся были хорошо одеты и вели себя чинно. Свет паникадил падал на черные сюртуки и белые воротнички, среди которых пятнами мелькали твидовые костюмы, на колонны из пятнистого зеленого мрамора и траурные покрывала. Вошедшие садились на скамьи, предварительно поддернув брюки и положив в безопасное место шляпы. Усаживались поудобней, благоговейно взглянув на далекий красный огонек лампады, висевший перед главным алтарем.

На одной из скамей около кафедры сидели мистер Кэннингем и мистер Кернан. На скамье позади сидел в одиночестве мистер Мак-Кой; на скамье позади него сидели мистер Пауэр и мистер Фогарти. Мистер Мак-Кой безуспешно пытался

найти себе местечко рядом с кем-нибудь из своих, а когда вся компания, наконец, расселась, он весело заметил, что они торчат на скамейках, как стигмы на теле Христа. Его острота была принята весьма сдержанно, и он замолчал. Даже на него оказало влияние царившее вокруг благолепие.

Мистер Кэннингем шепотом обратил внимание мистера Кернана на мистера Харфорда, ростовщика, сидевшего в некотором отдалении от них, и на мистера Фэннингэ, секретаря и заправилу избирательного комитета, сидевшего у самой кафедры, рядом с одним из вновь избранных членов опекунского совета. Справа сидели старый Майкл Граймз, владелец трех ссудных касс, и племянник Дана Хогена, который должен был получить место в Замке. Дальше, впереди, сидели мистер Хендрик, главный репортер «Фримен», и бедняга О'Кэрелл, старый приятель мистера Кернана, который был в свое время видной фигурой в деловых кругах. Оказавшись среди знакомых лиц, мистер Кернан почувствовал себя увереннее. Его шляпа, приведенная в порядок женой, лежала у него на коленях. Одной рукой время от времени он подтягивал манжеты, а другой непринужденно, но крепко держал шляпу за поля.

На ступеньках, ведущих на кафедру, показа-

лась массивная фигура, верхняя часть которой была облачена в белый стихарь. Сейчас же все молящиеся поднялись со скамей и преклонили колена, осторожно становясь на подложенные заранее носовые платки. Мистер Кернан последовал общему примеру. Теперь фигура священника стояла, выпрямившись, на кафедре; две трети его туловища и крупное красное лицо возвышались над перилами.

Отец Публдом преклонил колена, повернулся к красному огоньку лампады и, закрыв лицо руками, стал молиться. Через некоторое время он отнял руки от лица и встал. Молящиеся тоже поднялись и снова уселись на свои места. Мистер Кернан опять положил шляпу на колени и обратил к проповеднику внимательное лицо. Проповедник ловко завернул широкие рукава стихаря и медленно обвел глазами ряды лиц. Потом он сказал:

— «Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда вы обнищаете, приняли вас в вечные обители»[99].

---

[99] notes: 99

Слова Иисуса из притчи о неправедном управителе (Еванг. от Луки, 16, 8 — 9).

Отец Публдом стал объяснять значение этих слов звучным, уверенным голосом. Это одно из самых трудных мест во всем Писании, сказал он, потому что очень трудно истолковать его правильно и понятно. На первый взгляд даже может показаться, что он не согласуется с возвышенной моралью, проповедуемой Иисусом Христом. Но, сказал он своим слушателям, эти слова несомненно обращены как бы специально к тем, кому суждено жить в миру и кто тем не менее желает жить не так, как сыны мира сего. Эти слова как раз для деловых людей. Иисус Христос, в совершенстве постигший все слабости человеческой природы, понимал, что не все люди призваны жить в боге, что, напротив, большинство их вынуждено жить в миру и в некоторой степени даже для мира; и этими словами он хотел дать им совет, рассказав для пользы их духовной жизни о тех корыстолюбцах, которые наименее всего пекутся о делах божьих.

Он сказал своим слушателям, что сегодня он пришел сюда не затем, чтобы устрашать их или предъявлять к ним невыполнимые требования: он пришел как сын мира сего, чтобы поговорить с братьями своими. Он пришел говорить с деловыми людьми, и он будет говорить с ними

по-деловому. Если ему позволено будет выразиться образно, он сейчас — их духовный бухгалтер; и он хочет, чтобы каждый из его слушателей раскрыл перед ним свои книги, книги своей духовной жизни, и посмотрел, точно ли сходятся в них счета совести.

Иисус Христос — милостивый хозяин. Он знает наши грехи, знает слабости нашей грешной природы, знает соблазны мирской жизни. У всех нас бывали искушения, и все мы им поддавались; у всех нас бывали греховные соблазны, и все мы грешили. Но только об одном, сказал он, просит он своих слушателей. Да будут они честны и мужественны перед богом. Если их счета сходятся по всем графам, пусть они скажут:

«Вот, я проверил мои счета. В них все правильно».

Но если случится так, что в их счетах будет много ошибок, пусть они чистосердечно признаются в этом и скажут, как подобает мужчинам:

«Вот, я просмотрел мои счета. Я нашел, что в них много ошибок. Но милость божия неизреченна, и я исправлюсь. Я приведу в порядок мои счета».

Мертвые
Перевод О. П. Холмской

Лили, дочь сторожа, совсем сбилась с ног. Не успевала она проводить одного гостя в маленький чулан позади конторы в нижнем этаже и помочь ему раздеться, как опять начинал звонить сиплый колокольчик у входной двери, и опять надо было бежать бегом по пустому коридору открывать дверь новому гостю. Хорошо еще, что о дамах ей не приходилось заботиться. Мисс Кэт и мисс Джулия подумали об этом и устроили дамскую раздевальню в ванной комнате, наверху. Мисс Кэт и мисс Джулия обе были там, болтали, смеялись, и суетились, и то и дело выходили на лестницу, и, перегнувшись через перила, подзывали Лили и спрашивали, кто пришел. Это всегда было целое событие — ежегодный бал у трех мисс Моркан. Собирались все их знакомые — родственники, старые друзья семьи, участники хора, в котором пела мисс Джулия, те из учениц Кэт, которые к этому времени достаточно подросли, и даже кое-кто из учениц Мэри Джейн. Ни разу не было, чтоб бал не удался. Сколько лет

подряд он всегда проходил блестяще; с тех самых пор, как Кэт и Джулия после смерти брата Пэта взяли к себе Мэри Джейн, свою единственную племянницу, и из Стоуни Баттер переехали в темный мрачный дом на Ашер-Айленд, верхний этаж которого они снимали у мистера Фулгема, хлебного маклера, занимавшего нижний этаж. Это было добрых тридцать лет тому назад. Мэри Джейн из девочки в коротком платьице успела за это время стать главной опорой семьи: она была органисткой в церкви на Хэддингтон-Роуд. Она окончила Академию и каждый год устраивала концерты своих учениц в концертном зале Энтьент. Многие из ее учениц принадлежали к самым лучшим семьям в аристократических кварталах Дублина. Обе тетки тоже еще работали, несмотря на свой преклонный возраст. Джулия, теперь уже совсем седая, все еще была первым сопрано в церкви Адама и Евы, а Кэт, которая по слабости здоровья не могла много ходить, давала уроки начинающим на старом квадратном фортепиано в столовой. Лили, дочь сторожа, была у них за прислугу. Хотя они жили очень скромно, в еде они себе не отказывали; все только самое лучшее: первосортный филей, чай за три шиллинга, портер высшего качества. Лили

редко путала приказания и поэтому неплохо уживалась со своими тремя хозяйками. Они, правда, склонны были волноваться из-за пустяков, но это еще не большая беда. Единственное, чего они не выносили, это возражений.

А в такой вечер, как этот, немудрено было и поволноваться. Во-первых, было уже больше десяти, а ни Габриел, ни его жена еще не приехали. Во-вторых, они страшно боялись, как бы Фредди Мэлинз не пришел под хмельком. Ни за что на свете они бы не хотели, чтоб кто-нибудь из учениц Мэри Джейн увидел его в таком состоянии; а когда он бывал навеселе, с ним нелегко было сладить. Фредди Мэлинз всегда запаздывал, а вот что задержало Габриела, они не могли понять; поэтому-то они и выбегали поминутно на лестницу и спрашивали Лили, не пришел ли Габриел или Фредди.

— Ах, мистер Конрой, — сказала Лили, открывая дверь Габриелу. — Мисс Кэт и мисс Джулия уж думали, что вы совсем не придете. Здравствуйте, миссис Конрой.

— Неудивительно, — сказал Габриел, — что они так думали. Но они забывают, что моей жене нужно не меньше трех часов, чтоб одеться.

Пока он стоял на половичке, счищая снег с

галош, Лили проводила его жену до лестницы и громко позвала:

— Мисс Кэт! Миссис Конрой пришла.

Кэт и Джулия засеменили вниз по темной лестнице. Обе поцеловали жену Габриела, сказали, что бедняжка Грета, наверно, совсем закоченела, и спросили: а где же Габриел?

— Я тут, тетя Кэт, тут, будьте покойны. Идите наверх. Я сейчас приду, — отозвался Габриел из темноты.

Он продолжал энергично счищать снег, пока женщины со смехом поднимались по лестнице, направляясь в дамскую раздевальню. Легкая бахрома снега как пелерина лежала на его пальто, а на галошах снег налип, словно накладной носок; когда же пуговицы со скрипом стали просовываться в обледеневшие петли, из складок и впадин в заиндевелом ворсе пахнуло душистым холодком.

— Разве снег опять пошел, мистер Конрой? — спросила Лили.

Она прошла впереди него в чулан, чтоб помочь ему раздеться. Габриел улыбнулся тому, как она произнесла его фамилию: словно она была из трех слогов, и посмотрел на нее. Она была тоненькая, еще не совсем сформировавшаяся девушка, с

бледной кожей и соломенного цвета волосами. В свете газового рожка в чулане она казалась еще бледней. Габриел знал ее, еще когда она была ребенком и любила сидеть на нижней ступеньке лестницы, нянча тряпичную куклу.

— Да, Лили, — сказал он, — опять пошел и уже, должно быть, на всю ночь.

Он взглянул на потолок, сотрясавшийся от топота и шарканья ног в верхнем этаже; с минуту он прислушивался к звукам рояля, потом посмотрел на девушку, которая, свернув пальто, аккуратно укладывала его на полку.

— Скажи-ка, Лили, — спросил он дружеским тоном, — ты все еще ходишь в школу?

— Что вы, сэр, — ответила она, — я уже год как окончила школу, даже больше.

— Вот как, — весело сказал Габриел, — стало быть, скоро будем праздновать твою свадьбу, а?

Девушка посмотрела на него через плечо и ответила с глубокой горечью:

— Нынешние мужчины только языком треплют и норовят как-нибудь обойти девушку.

Габриел покраснел, словно почувствовав, что допустил какую-то бестактность, и, не глядя на Лили, сбросил галоши и усердно принялся концом кашне обмахивать свои лакированные

туфли.

Он был высокого роста и полный. Румянец с его щек переполз даже на лоб, рассеиваясь по нему бледно-красными бесформенными пятнами. На его гладко выбритом лице беспокойно поблескивали круглые стекла и новая золотая оправа очков, прикрывавших его близорукие и беспокойные глаза. Его глянцевитые черные волосы были расчесаны на прямой пробор и двумя длинными прядями загибались за уши; кончики завивались немного пониже ложбинки, оставленной шляпой.

Доведя свои туфли до блеска, он выпрямился и одернул жилет, туго стягивавший его упитанное тело. Потом быстро достал из кармана золотой.

— Послушай, Лили, — сказал он и сунул монету ей в руку, — сейчас ведь рождество, правда? Ну так вот… это тебе…

Он заспешил к двери.

— Нет, нет, сэр! — воскликнула девушка, бросаясь за ним. — Право же, сэр, я не могу…

— Рождество! Рождество! — сказал Габриел, почти бегом устремляясь к лестнице и отмахиваясь рукой.

Девушка, видя, что он уже на ступеньках, крикнула ему вслед:

— Благодарю вас, сэр.

Он подождал у дверей в гостиную, пока окончится вальс, прислушиваясь к шелесту юбок, задевавших дверь, и шарканью ног. Он все еще был смущен неожиданным и полным горечи ответом девушки. У него остался неприятный осадок, и теперь он пытался забыть разговор, поправляя манжеты и галстук. Потом он достал из жилетного кармана небольшой клочок бумаги и прочел заметки, приготовленные им для застольной речи. Он еще не решил насчет цитаты из Роберта Браунинга[100]; пожалуй, это будет не по плечу его слушателям. Лучше бы взять какую-нибудь всем известную строчку из Шекспира или из «Мелодий»[101]. Грубое притоптывание мужских каблуков и шарканье подошв напомнили ему, что он выше их всех по развитию. Он только поставит себя в смешное положение, если начнет цитировать стихи, которые они не способны понять. Они подумают, что он старается похвалиться перед ними своей начитанностью.

---

[100] notes: 100

Роберт Браунинг (1812–1889), английский поэт, который в конце XIX в. считался «трудным» художником, доступным только избранным.

[101] notes: 101

«Ирландские мелодии» Томаса Мура, очень популярные стихи в Ирландии в конце XIX — начале XX в.

Это будет такая же ошибка, как только что с девушкой в чулане. Он взял неверный тон. Вся его речь — это сплошная ошибка, от первого слова до последнего, полнейшая неудача.

В эту минуту из дамской раздевальни вышли его тетки и жена. Тетки были маленькие, очень просто одетые старушки. Тетя Джулия была повыше тети Кэт на какой-нибудь дюйм. Ее волосы, спущенные на уши, казались серыми; таким же серым с залегшими кое-где более темными тенями казалось ее широкое обрюзгшее лицо. Хотя она была крупной женщиной, растерянный взгляд и открытые губы придавали ей вид человека, который сам хорошенько не знает, где он сейчас и что ему надо делать. Тетя Кэт была живей. Ее лицо, более здоровое на вид, чем у сестры, было все в ямочках и складках, словно сморщенное румяное яблочко, а волосы, уложенные в такую же старомодную прическу, как у Джулии, не утратили еще цвет спелого ореха.

Обе звонко поцеловали Габриела. Он был их любимым племянником, сыном их покойной старшей сестры Эллен, вышедшей замуж за Т. Дж. Конроя из Управления портами и доками.

— Грета говорит, что вы решили не возвращаться в Монкзтаун сегодня и не заказывали

кеба, — сказала тетя Кэт.

— Да, — сказал Габриел, оборачиваясь к жене, — с нас довольно прошлого раза, правда? Помните, тетя Кэт, как Грета тогда простудилась? Стекла в кебе дребезжали всю дорогу, а когда мы проехали Меррион, задул восточный ветер. Весело было, нечего сказать. Грета простудилась чуть не насмерть.

Тетя Кэт строго нахмурила брови и при каждом его слове кивала головой.

— Правильно, Габриел, правильно, — сказала она. — Осторожность никогда не мешает.

— Грета, та, конечно, пошла бы домой даже пешком, — сказал Габриел, — хоть по колено в снегу, только бы ей позволили.

Миссис Конрой рассмеялась.

— Не слушайте его, тетя Кэт, — сказала она. — Он вечно что-нибудь выдумывает: чтобы Том вечером надевал козырек, когда читает, чтобы он делал гимнастику, чтобы Ева ела овсянку. А бедная девочка ее просто видеть не может… А знаете, что он мне теперь велит носить? Ни за что не догадаетесь!

Она расхохоталась и посмотрела на мужа, который переводил восхищенный и счастливый взгляд с ее платья на ее лицо и волосы. Обе тетки

тоже от души рассмеялись, так как заботливость Габриела была в семье предметом постоянных шуток.

— Галоши! — сказала миссис Конрой. — Последняя его выдумка. Чуть только сыро, я должна надевать галоши. Он бы и сегодня заставил меня их надеть, только я отказалась наотрез. Скоро он мне водолазный костюм купит.

Габриел нервно усмехнулся и для успокоения потрогал галстук, а тетя Кэт прямо-таки перегнулась пополам — так ее развеселила эта шутка. Улыбка скоро сошла с лица тети Джулии, и снова на ее лице застыло безрадостное выражение. Помолчав, она спросила:

— А что такое галоши, Габриел?

— Джулия! — воскликнула ее сестра. — Бог с тобой, разве ты не знаешь, что такое галоши? Их надевают на… на башмаки, да, Грета?

— Да, — сказала миссис Конрой. — Такие гуттаперчевые штуки. У нас теперь у обоих по паре. Габриел говорит, что на континенте все их носят.

— Да, да, на континенте, — пробормотала Джулия, медленно кивая головой.

Габриел сдвинул брови и сказал, словно немного раздосадованный:

— Ничего особенного, но Грете смешно, потому что ей это слово напоминает о ярмарочных певцах.

— Послушай, Габриел, — тактично вмешалась тетя Кэт и быстро перевела разговор на другую тему: — Ты позаботился о комнате? Грета говорит…

— Насчет комнаты все улажено, — сказал Габриел. — Я заказал номер в «Грешеме».

— Ну вот и отлично, — сказала тетя Кэт, — самое лучшее, что можно было придумать. А о детях ты не беспокоишься, Грета?

— На одну-то ночь, — сказала миссис Конрой. — Да и Бесси за ними присмотрит.

— Ну вот и отлично, — повторила тетя Кэт, — какое счастье, что у вас есть няня, на которую можно положиться. А с нашей Лили что-то творится в последнее время. Девушку прямо узнать нельзя.

Габриел только что собрался поподробнее расспросить свою тетку, как вдруг та замолкла, беспокойно следя взглядом за сестрой, которая пошла к лестнице и перегнулась через перила.

— Ну, скажите, пожалуйста, — воскликнула она почти с раздраженьем, — куда это Джулия пошла? Джулия! Джулия! Куда ты пошла?

Джулия, уже наполовину спустившись с лестницы, вернулась и кротко ответила:

— Фредди пришел.

В ту же минуту аплодисменты и финальный пассаж на рояле возвестили окончание вальса. Двери гостиной распахнулись, и появилось несколько пар. Тетя Кэт торопливо отвела Габриела в сторону и зашептала ему на ухо:

— Габриел, голубчик, пойди вниз и посмотри, какой он, и не пускай его наверх, если он нетрезв. Он, наверно, нетрезв. Я чувствую.

Габриел подошел к перилам и прислушался. Слышно было, как двое разговаривают в чулане. Потом он узнал смех Фредди Мэлинза. Габриел шумно сбежал по лестнице.

— Как хорошо, что Габриел здесь, — сказала тетя Кэт, обращаясь к миссис Конрой. — У меня всегда гораздо спокойней на душе, когда он здесь. Джулия, проводи мисс Дейли и мисс Пауэр в столовую, угости их чем-нибудь. Тысячу благодарностей, мисс Дейли, за ваш прекрасный вальс. Под него так хорошо танцевать.

Высокий сморщенный человек с жесткими седыми усами и очень смуглой кожей, выходивший из гостиной вместе со своей дамой, сказал:

— А нас тоже угостят, мисс Моркан?

— Джулия, — сказала тетя Кэт, обращаясь ко всем, — мистер Браун и мисс Ферлонг тоже скушают что-нибудь. Проводи их в столовую, Джулия, вместе с мисс Дейли и мисс Пауэр.

— Я поухаживаю за дамами, — сказал мистер Браун, так плотно сжимая губы, что усы его ощетинились, и улыбаясь всеми своими морщинами. — Сказать вам, мисс Моркан, за что они все меня так любят…

Он не кончил фразы, увидев, что тетя Кэт уже отошла, и тотчас повел всех трех дам в столовую. Середина комнаты была занята двумя составленными вместе квадратными столами, тетя Джулия и сторож поправляли и разглаживали скатерть. На буфете были расставлены блюда, тарелки и стаканы, сложены кучкой ножи, вилки и ложки. Крышка квадратного фортепиано была закрыта, и на ней тоже стояли закуски и сладости. В углу, возле другого буфета, поменьше, стояли двое молодых людей и пили пиво.

Мистер Браун провел туда своих дам и спросил в шутку, не хотят ли они выпить по стаканчику дамского пунша, горячего, крепкого и сладкого. Услышав в ответ, что они никогда не пьют ничего крепкого, он откупорил для них три бутылки лимонада. Потом он попросил одного из молодых

людей подвинуться и, завладев графинчиком, налил себе солидную порцию виски. Молодые люди с уважением поглядели на него, когда он отхлебнул первый глоток.

— Господи, благослови, — сказал он, улыбаясь. — Мне это доктор прописал.

Его сморщенное лицо еще шире расплылось в улыбке, и все три дамы музыкальным смехом ответили на его шутку, покачиваясь всем телом и нервно передергивая плечами. Самая смелая сказала:

— О, мистер Браун, я уверена, что доктор вам ничего подобного не прописывал.

Мистер Браун отхлебнул еще глоток и сказал гримасничая:

— Видите ли, я, как знаменитая миссис Кассиди, которая будто бы говорила: «Ну, Мэри Граймс, если я сама не выпью, так заставь меня выпить, потому как мне очень хочется».

Он слишком близко наклонил к ним свое разгоряченное лицо, и свою тираду он произнес, подражая говору дублинского простонародья; дамы, словно сговорившись, промолчали в ответ на его слова. Мисс Ферлонг, одна из учениц Мэри Джейн, спросила мисс Дейли, как называется тот миленький вальс, который она играла, а мистер

Браун, видя, что на него не обращают внимания, проворно обернулся к слушающим его молодым людям.

Краснолицая молодая женщина, одетая в лиловое, вошла в комнату, оживленно захлопала в ладоши и крикнула:

— Кадриль! Кадриль!

За ней по пятам спешила тетя Кэт, крича:

— Двух кавалеров и трех дам, Мэри Джейн.

— Вот тут как раз мистер Бергин и мистер Керриган, — сказала Мэри Джейн. — Мистер Керриган, вы пригласите мисс Пауэр, хорошо? Мисс Ферлонг, разрешите вам предложить мистера Бергина в кавалеры. Теперь все в порядке.

— Трех дам, Мэри Джейн, — сказала тетя Кэт.

Молодые люди спросили девиц, не окажут ли они им честь, а Мэри Джейн обратилась к мисс Дейли:

— Мисс Дейли, мне, право, совестно… вы были так добры — играли два последних танца… но у нас сегодня так мало дам…

— Ничего, ничего, я с удовольствием, мисс Моркан.

— И у меня есть для вас очень интересный кавалер, мистер Бартелл д'Арси, тенор. Попозже он нам споет. Весь Дублин от него в восторге.

— Чудесный голос, чудесный! — сказала тетя Кэт.

Рояль уже дважды начинал вступление к первой фигуре, и Мэри Джейн поспешно увела завербованных танцоров. Едва они вышли, как в комнату медленно вплыла тетя Джулия, оглядываясь на кого-то через плечо.

— Ну, в чем дело, Джулия? — тревожно спросила тетя Кэт. — Кто там с тобой?

Джулия, прижимая к груди гору салфеток, повернулась к сестре и сказала равнодушно, словно удивленная вопросом:

— Да это Фредди, Кэт, и с ним Габриел.

В самом деле, за спиной Джулии виднелся Габриел, тащивший на буксире Фредди Мэлинза через площадку лестницы. Последний, упитанный господин лет сорока, ростом и телосложением напоминал Габриела, только плечи у него были очень покатые. У него было отекшее, землистое лицо, на котором багровели отвислые мочки ушей да ноздри крупного носа. Грубые черты, тупой нос, вдавленный и покатый лоб, влажные оттопыренные губы. Глаза с тяжелыми веками и растрепанные редкие волосы придавали ему сонный вид. Он громко смеялся дискантом над каким-то анекдотом, который начал рассказы-

вать Габриелу, еще когда они шли по лестнице, и левым кулаком все время тер левый глаз.

— Добрый вечер, Фредди, — сказала тетя Джулия.

Фредди Мэлинз поздоровался с обеими мисс Моркан как будто бы небрежно, но это, вероятно, происходило от того, что он заикался, а затем, видя, что мистер Браун подмигивает ему, стоя возле буфета, он не совсем твердым шагом направился к нему и вполголоса принялся опять рассказывать анекдот, который только что рассказывал Габриелу.

— Он, кажется, ничего? — спросила тетя Кэт Габриела.

Услышав вопрос, Габриел быстро изменил выражение лица и сказал:

— Ничего, почти совсем незаметно.

— Ужасный все-таки человек! — сказала тетя Кэт. — А ведь только в канун Нового года он дал матери слово, что бросит пить. Пойдем в гостиную, Габриел.

Прежде чем выйти из комнаты, она, строго нахмурив брови, погрозила пальцем мистеру Брауну. Мистер Браун кивнул в ответ и, когда она вышла, сказал Фредди Мэлинзу:

— Ну, Тедди, теперь вам нужно выпить хоро-

ший стаканчик лимонаду, чтобы подбодриться.

Фредди Мэлинз, в эту минуту рассказывавший самое интересное место, нетерпеливо отмахнулся. Но мистер Браун сперва заметил, что в его костюме некоторая небрежность, затем проворно налил и подал ему полный стакан лимонада. Левая рука Фредди Мэлинза машинально взяла стакан, пока правая столь же машинально была занята приведением костюма в порядок. Мистер Браун, весь сморщившись от удовольствия, налил себе виски, а Фредди Мэлинз, не досказав анекдот до конца, закашлялся, разразившись громким смехом. Он поставил свой налитый до краев стакан на буфет и принялся левым кулаком тереть левый глаз, повторяя слова последней фразы, задыхаясь от сотрясавшего его смеха.

Габриел заставил себя слушать виртуозную пьесу, полную трудных пассажей, которую Мэри Джейн играла перед затихшей гостиной. Он любил музыку, но в этой вещи не улавливал мелодии и сомневался, чтобы ее мог уловить кто-нибудь из слушателей, хотя они и попросили Мэри Джейн сыграть. Четверо молодых людей, появившихся из столовой при первых звуках рояля, остановились в дверях гостиной, но через несколько минут потихоньку один за

другим ушли. Казалось, музыку слушали только Мэри Джейн, чьи руки то бегали по клавишам, то, во время пауз, поднимались вверх, словно у посылающей кому-то проклятия жрицы, и тетя Кэт, ставшая рядом, чтобы переворачивать страницы.

Глаза Габриела, утомленные блеском навощенного пола под тяжелой люстрой, скользнули по стене за роялем. Там висела картина — сцена на балконе из «Ромео и Джульетты», а рядом — шитый красным, голубым и коричневым гарусом коврик, изображавший маленьких принцев, убитых в Тауэре[102], который тетя Джулия вышила, еще когда была девочкой. Должно быть, в школе, где сестры учились в детстве, целый год обучали такому вышиванию. Его мать когда-то, в подарок ко дню рождения, расшила маленькими лисьими головками жилет из пурпурного табинета, на коричневой шелковой подкладке и с круглыми стеклянными пуговицами. Странно, что у его матери не было музыкальных способностей, хотя тетя Кэт всегда называла ее гением семьи Моркан. И она, и тетя Джулия, казалось, немного

[102] notes: 102
Английский король Ричард III (1453–1485) отдал приказание убить своих племянников, сыновей старшего брата Эдуарда IV, которые мешали ему получить трон.

гордились своей серьезной и представительной старшей сестрой. Ее фотография стояла на подзеркальнике. Она держала на коленях открытую книгу и что-то в ней показывала Константину, который в матроске лежал у ее ног. Она сама выбрала имена своим сыновьям: она всегда очень пеклась о достоинстве семьи. Благодаря ей Константин[103] сейчас был приходским священником в Балбригене, и благодаря ей Габриел окончил Королевский университет[104]. Тень пробежала по его лицу, когда он вспомнил, как упрямо она противилась его браку. Несколько обидных слов, сказанных ею, мучили его до сих пор; как-то раз она сказала, что Грета — хитрая деревенская девка, а ведь это была неправда. Грета ухаживала за ней во время ее последней долгой болезни, у них, в Монкзтауне.

Должно быть, пьеса, которую играла Мэри Джейн, подходила к концу, потому что теперь опять повторялась вступительная тема с пассажами после каждого такта; и пока он дожидался

[103] notes: 103

Габриел назван в честь архангела Гавриила, который сообщил священнику Захарии о рождении сына, Иоанна Крестителя, а Деве Марии — о рождении Иисуса. Константин — от латинского constans — твердый, постоянный.

[104] notes: 104

Имеется в виду Дублинский Университетский колледж.

ее окончания, враждебное чувство угасло в нем. Пьеса закончилась тремоло в верхней октаве и финальной низкой октавой в басах. Громкие аплодисменты провожали Мэри Джейн, когда она, красная, нервно свертывая ноты в трубочку, выскользнула из гостиной. Сильнее всех аплодировали четверо молодых людей, которые ушли в столовую в начале исполнения, но вернулись и снова стали в дверях, как только рояль замолк.

Началось лансье[105]. Габриел оказался в паре с мисс Айворз. Это была говорливая молодая женщина с решительными манерами; у нее были карие глаза навыкате и все лицо в веснушках. Она не была декольтирована, и воротник у нее был заколот большой брошкой с эмблемой Ирландии[106].

Когда они заняли свои места, она вдруг сказала:

— Я собираюсь с вами ссориться.

— Со мной? — сказал Габриел.

Она строго кивнула головой.

— Из-за чего? — спросил Габриел, улыбаясь ее торжественному тону.

---

[105] notes: 105
Старинная форма кадрили.

[106] notes: 106
Мисс Айворз была сторонницей Ирландского Возрождения.

— Кто такой Г. К.? — спросила мисс Айворз, пристально глядя ему в лицо.

Габриел покраснел и хотел было поднять брови, словно не понимая, но она резко сказала:

— Скажите, какая невинность! Оказывается, вы пишете для «Дейли экспресс»[107]. Не стыдно вам?

— Почему мне должно быть стыдно? — сказал Габриел, моргая и пытаясь улыбнуться.

— Мне за вас стыдно, — сказала мисс Айворз решительно, — писать для такой газеты! Я не знала, что вы англофил.

На лице Габриела появилось смущенное выражение. Он в самом деле давал литературный обзор в «Дейли экспресс» по средам и получал за него пятнадцать шиллингов. Но из этого еще не следует, что он стал англофилом. В сущности, он гораздо больше радовался книгам, которые ему присылали на рецензию, чем ничтожной оплате. Ему нравилось ощупывать переплеты и перелистывать свежеотпечатанные страницы. Почти каждый день после занятий в колледже он заходил к букинистам на набережной — к Хикки на Бэчелор-Уорк, к Уэббу или Мэсси на

---

[107] notes: 107

Ирландская газета консервативного толка, не поддерживала программу Ирландского Возрождения.

Астонской набережной или в переулок к О'Клоисси. Он не знал, что ей возразить. Ему хотелось сказать, что литература выше политики. Но они были давнишними друзьями, вместе учились в университете, потом вместе преподавали; с ней неуместны выспренние фразы. Он все моргал, и все старался улыбнуться, и наконец невнятно пробормотал, что не видит никакой связи между политикой и писанием рецензий.

Когда они вновь встретились в танце, он все еще был смущен и рассеян. Мисс Айворз быстро сжала его руку в своей теплой руке и сказала дружески и мягко:

— Полно, я пошутила. Скорей, наша очередь расходиться.

Когда они опять оказались вместе, она заговорила об университетском вопросе[108], и Габриел почувствовал себя свободней. Кто-то из друзей показал ей рецензию Габриела на стихи Браунинга — вот как она узнала его тайну; рецензия ей страшно понравилась.

Потом она вдруг сказала:

— Да, кстати, мистер Конрой, не примете ли

---

[108] notes: 108

Имеется в виду конфликт, возникший из-за попытки уравнять образование протестантов и католиков в Англии и Ирландии.

вы участие в экскурсии на Аранские острова[109] этим летом? Мы поедем на целый месяц. Вот будет чудесно оказаться в открытом океане! Вы непременно должны поехать. Поедут мистер Клэнси, и мистер Килкелли, и Кэтлин Кирни[110]. И Грете хорошо бы поехать. Она ведь из Коннахта[111]?

— Она оттуда родом, — сухо сказал Габриел.

— Так, значит, едем, решено? — сказала мисс Айворз с жаром, тронув его руку своей теплой рукой.

— Собственно говоря, — начал Габриел, — я уже решил поехать…

— Куда? — спросила мисс Айворз.

— Видите ли, я каждый год совершаю экскурсию на велосипеде с несколькими приятелями…

— Но куда? — спросила мисс Айворз.

— Видите ли, мы обычно путешествуем по

---

[109] notes: 109

Аранские острова расположены у западного побережья Ирландии. Сторонники Ирландского Возрождения идеализировали в своих произведениях природу этих островов и образ жизни крестьян, которые продолжали говорить там на забытом гэльском языке и были, с точки зрения участников движения, истинными носителями ирландского духа, поскольку не были испорчены цивилизацией.

[110] notes: 110

Персонаж рассказа «Мать».

[111] notes: 111

Коннахт — одна из четырех провинций Ирландии, расположена на западе страны.

Франции или Бельгии, иногда по Германии, — смущенно сказал Габриел.

— А зачем вам путешествовать по Франции или Бельгии, — сказала мисс Айворз, — лучше бы узнали свою родину.

— Ну, — сказал Габриел, — отчасти, чтобы изучить язык, а отчасти, чтоб сменить обстановку.

— А свой родной язык вам не надо изучать — ирландский? — спросила мисс Айворз.

— Если уж на то пошло, — сказал Габриел, — то гэльский вовсе не мой родной язык.

Соседняя пара начала прислушиваться к этому допросу. Габриел беспокойно поглядел направо и налево, он старался сохранить самообладание, но краска начала заливать его лоб.

— А свою родину вам не надо узнать поближе? — продолжала мисс Айворз. — Родину, которой вы совсем не знаете, родной народ, родную страну?

— Сказать вам правду, — вдруг резко возразил Габриел, — мне до смерти надоела моя родная страна!

— Почему? — спросила мисс Айворз.

Габриел не ответил, слишком взволнованный собственными словами.

— Почему? — повторила мисс Айворз.

Пора было меняться дамами, и, так как Габриел все молчал, мисс Айворз сказала горячо:

— Конечно, вам нечего ответить.

Чтобы скрыть свое волнение, Габриел стал танцевать с необыкновенным рвением. Он избегал взгляда мисс Айворз, так как заметил кислую гримасу на ее лице. Но когда они снова встретились в общем кругу, он с удивлением почувствовал, что она крепко пожимает ему руку. Мгновенье она лукаво смотрела на него, пока он не улыбнулся. Затем, когда цепь опять пришла в движение, она встала на цыпочки и шепнула ему на ухо:

— Англофил!

Когда лансье окончилось, Габриел отошел в дальний угол, где сидела мать Фредди Мэлинза. Это была толстая болезненная старуха, вся седая. Так же, как сын, она слегка заикалась. Ей уже сказали, что Фредди здесь и что он почти совсем трезв. Габриел спросил ее, хорошо ли она доехала, не качало ли их на пароходе. Она жила у своей замужней дочери в Глазго и каждый год приезжала в Дублин погостить. Она ровным голосом ответила, что нисколько не качало и капитан был к ней очень внимателен. Она рассказала также о том, как хорошо живет ее дочь в Глазго и как много у них там знакомых. Пока она говорила, Габриел

пытался забыть о неприятном разговоре с мисс Айворз. Конечно, она восторженная девушка, или женщина, или что она там такое, но, право, всему свое время. Пожалуй, не следовало так отвечать ей. Но она не имела права перед всеми называть его англофилом, даже в шутку. Она хотела сделать из него посмешище, устраивая ему этот допрос и тараща на него свои кроличьи глаза.

Он увидел, что жена пробирается к нему между вальсирующими парами. Подойдя, она сказала ему на ухо:

— Габриел, тетя Кэт спрашивает, будешь ли ты резать гуся, как всегда, или нет. Мисс Дейли нарежет окорок, а я — пудинг.

— Хорошо, — сказал Габриел.

— Она устроит так, чтобы молодежь поужинала раньше, и мы будем в своей компании.

— Ты танцевала? — спросил Габриел.

— Конечно. Разве ты меня не видел? Из-за чего вы поспорили с Молли Айворз?

— И не думали спорить. Откуда ты взяла? Это она сказала?

— Да, сказала что-то в этом духе. Я уговариваю этого мистера д'Арси спеть. Он ужасно ломается.

— Мы вовсе не спорили, — сказал Габриел недовольным тоном, — просто она уговаривала меня

поехать в западную Ирландию, а я отказался.

Его жена радостно хлопнула в ладоши и слегка подпрыгнула.

— Поедем, Габриел, — воскликнула она, — мне так хочется еще раз побывать в Голуэе!

— Поезжай, если хочешь, — холодно ответил Габриел.

Она секунду смотрела на него, потом повернулась к миссис Мэлинз и сказала:

— Любезный у меня муженек, правда, миссис Мэлинз?

Она не торопясь отошла, а миссис Мэлинз, словно не было никакого перерыва, продолжала рассказывать ему, какие замечательные места есть в Шотландии и какие замечательные виды. Ее зять каждый год возит их на озеро, и они там удят рыбу. Ее зять изумительный рыболов. Однажды он поймал замечательную рыбу, и повар в отеле зажарил ее им на обед.

Габриел едва слышал, что она говорила. Теперь, когда до ужина оставалось уже немного, он опять начал думать о своей речи и о цитате из Браунинга. Когда он увидел, что Фредди Мэлинз направляется к матери, он уступил ему место и отошел в амбразуру окна. Комната уже опустела, и из столовой доносился звон ножей и

тарелок. Те, кто еще оставался в гостиной, устали танцевать и тихо разговаривали, разбившись на группы. Теплые дрожащие пальцы Габриела забарабанили по холодному оконному стеклу. Как, наверно, свежо там, на улице. Как приятно было бы пройтись одному — сперва вдоль реки, потом через парк! Ветви деревьев, наверно, все в снегу, а на памятнике Веллингтону[112] белая шапка из снега. Насколько приятней было бы оказаться там, чем за столом, с гостями!

Он быстро просмотрел главные пункты своей речи: ирландское гостеприимство, печальные воспоминания, три грации, Парис, цитата из Браунинга. Он повторил про себя фразу из своей рецензии: «Кажется, что слушаешь музыку, разъедаемую мыслью». Мисс Айворз похвалила рецензию. Искренне или нет? Есть ли у нее какая-нибудь личная жизнь, помимо всех этих громких слов? Они никогда не ссорились до этого вечера. Неприятно, что она тоже будет сидеть за ужином и смотреть на него своим критическим, насмешливым взглядом, когда он будет говорить. Она-то будет рада, если он провалится. Внезапно ему

[112] notes: 112

У восточного входа в Феникс-Парк стоит памятник герцогу Веллингтону (1763–1852). Хотя Веллингтон по происхождению ирландец, в стране его воспринимали как символ английского владычества.

пришла в голову мысль, подбодрившая его. Он скажет, имея в виду тетю Кэт и Джулию: «Леди и джентльмены, поколение, которое сейчас уходит от нас, имело, конечно, свои недостатки, но зато, на мой взгляд, ему присущи добродетели — гостеприимство, юмор, человечность, которых не хватает, быть может, новому, чрезмерно серьезному и чрезмерно образованному поколению». Очень хорошо; это будет камешек в огород мисс Айворз. Конечно, его тетки, в сущности, просто невежественные старухи, но разве в этом дело?

Шум в гостиной привлек его внимание. Мистер Браун шествовал от двери, галантно сопровождая тетю Джулию, которая, опустив голову и улыбаясь, опиралась на его руку. Неровные хлопки провожали ее до самого рояля и постепенно стихли, когда Мэри Джейн села на табурет, а тетя Джулия, уже не улыбаясь, стала рядом, повернувшись так, чтобы ее голос был лучше слышен. Габриел узнал вступление. Это была старинная песня, которую часто пела Джулия, — «В свадебном наряде»[113]. Ее голос, сильный и чистый, твердо вел мелодию, с блеском выполняя трудные

[113] notes: 113

Ария из оперы Винченцо Беллини (1802–1835) «Пуритане» (1834), завоевавшая особую популярность благодаря своим пленительно-страстным мелодиям.

места, и, хотя она пела в очень быстром темпе, в фиоритурах она не пропустила ни единой нотки. Ощущение от ее голоса, если не смотреть на лицо певицы, было такое же, как от быстрого и уверенного полета. Когда она кончила, Габриел громко зааплодировал вместе с остальными, и громкие аплодисменты донеслись от невидимых слушателей из столовой. Они звучали так искренне, что легкая краска появилась на лице тети Джулии, когда она наклонилась поставить на этажерку старую нотную тетрадь с ее инициалами на кожаном переплете. Фредди Мэлинз, все время державший голову набок, чтобы лучше слышать, продолжал еще аплодировать, когда остальные уже перестали, и что-то оживленно говорил своей матери, которая медленно и важно кивала головой. Наконец он тоже больше не в силах был аплодировать, вскочил и через всю комнату поспешно подбежал к тете Джулии и обеими руками крепко пожал ее руку, и встряхивал ее каждый раз, когда ему не хватало слов или заиканье прерывало его речь.

— Я только что говорил матери, — сказал он, — никогда еще вы так не пели, никогда! Нет, право, такой звук… никогда еще не слышал. Что? Не верите? Истинная правда. Честью вам клянусь.

Такой свежий, и такой чистый, и... и... такой свежий... никогда еще не бывало.

Тетя Джулия, широко улыбаясь, пробормотала что-то насчет комплиментов и осторожно высвободила руку. Приосанившись, мистер Браун произнес, обращаясь к окружающим тоном ярмарочного зазывалы, представляющего публике какое-нибудь чудо природы:

— Мое последнее открытие — мисс Джулия Моркан!

Он сам от души расхохотался над своей шуткой, но Фредди Мэлинз повернулся к нему и сказал:

— Такие удачные открытия не часто у вас бывали, Браун, смею вас уверить. Могу только сказать, что ни разу еще не слышал, чтобы она так пела, за все годы, что ее знаю. И это истинная правда.

— Я тоже не слышал, — сказал мистер Браун, — ее голос стал еще лучше, чем прежде.

Тетя Джулия пожала плечами и сказала не без гордости:

— Лет тридцать тому назад у меня был неплохой голос.

— Я всегда говорю Джулии, — горячо сказала тетя Кэт, — что она просто зря пропадает в этом хоре. Она меня и слушать не хочет.

Она повернулась к гостям, словно взывая к ним

в споре с непослушным ребенком, а тетя Джулия смотрела прямо перед собой, на лице ее блуждала улыбка: она предалась воспоминаниям.

— Да, — продолжала тетя Кэт, — никого не хочет слушать и мучается с этим хором с утра до вечера, да еще и по ночам тоже. В первый день Рождества с шести утра начинают, вы только подумайте! И чего ради, спрашивается?

— Ради того, чтобы послужить Господу Богу, тетя Кэт. Разве не так? — сказала Мэри Джейн, поворачиваясь кругом на вращающемся табурете и улыбаясь.

Тетя Кэт гневно накинулась на племянницу:

— Это все очень хорошо, Мэри Джейн, — послужить Господу Богу, я это и сама знаю, но скажу: не делает чести папе изгонять из церковного хора женщин[114], которые всю жизнь отдали этому делу. Да еще ставить над ними мальчишек-молокососов. Надо думать, это для блага церкви, раз папа так постановил. Но это несправедливо, Мэри Джейн, неправильно и несправедливо.

Она совсем разгорячилась и еще долго и много

---

[114] notes: 114

Имеется в виду решение папы Пия X (1835–1914), принятое им самолично, без согласования с кардиналами, о недопущении в церковный хор женщин, как неспособных выполнять духовное предназначение церковного песнопения.

говорила бы в защиту сестры, потому что это была наболевшая тема, но Мэри Джейн, видя, что все танцоры возвращаются в гостиную, сказала умиротворяющим тоном:

— Тетя Кэт, ты вводишь в соблазн мистера Брауна, который и так не нашей веры.

Тетя Кэт обернулась к мистеру Брауну, ухмыльнувшемуся при упоминании о его вероисповедании, и сказала поспешно:

— Не подумайте, ради бога, что я сомневаюсь в правоте папы. Я всего только глупая старуха и никогда бы не посмела. Но есть все же на свете такие понятия, как простая вежливость и благодарность. Будь я на месте Джулии, я бы напрямик заявила этому отцу Хили…

— И кроме того, тетя Кэт, — сказала Мэри Джейн, — мы все хотим есть, а когда люди хотят есть, они легко ссорятся.

— А когда люди хотят пить, они тоже легко ссорятся, — прибавил мистер Браун.

— Так что лучше сперва поужинаем, — сказала Мэри Джейн, — а спор закончим после.

У дверей в гостиную Габриел застал свою жену и Мэри Джейн, которые уговаривали мисс Айворз остаться ужинать. Но мисс Айворз, уже надевшая шляпу и теперь застегивавшая пальто, не хотела

оставаться. Ей совсем не хочется есть, да она и так засиделась.

— Ну, каких-нибудь десять минут, Молли, — говорила миссис Конрой. — Это вас не задержит.

— Надо же вам подкрепиться, — говорила Мэри Джейн, — вы столько танцевали.

— Право, не могу, — сказала мисс Айворз.

— Вам, наверное, было скучно у нас, — огорченно сказала Мэри Джейн.

— Что вы, что вы, наоборот, — сказала мисс Айворз, — но теперь вы должны меня отпустить.

— Но как же вы дойдете одна? — спросила миссис Конрой.

— Тут всего два шага, по набережной.

Поколебавшись с минуту, Габриел сказал:

— Если разрешите, я вас провожу, мисс Айворз, раз уж вам так необходимо идти.

Но мисс Айворз замахала руками.

— И слышать не хочу, — воскликнула она. — Ради бога, идите ужинать и не беспокойтесь обо мне. Отлично дойду одна.

— Чудачка вы, Молли, — в сердцах сказала миссис Конрой.

— Beannacht libh![115] — со смехом крикнула

---

[115] notes: 115
До свидания *(гэльск.).*

мисс Айворз, сбегая по лестнице.

Мэри Джейн посмотрела ей вслед; она была огорчена, а миссис Конрой перегнулась через перила, прислушиваясь, когда хлопнет парадная дверь. Габриел подумал про себя, не он ли причина этого внезапного ухода. Но нет, она вовсе не казалась расстроенной, смеялась, уходя.

Внезапно из столовой появилась тетя Кэт, торопясь, и спотыкаясь, и беспомощно ломая руки.

— Где Габриел? — воскликнула она. — Ради всего святого, куда девался Габриел? Там все уже сидят за столом, и некому резать гуся!

— Я тут, тетя Кэт, — крикнул Габриел с внезапным оживлением, — хоть целое стадо гусей разрежу, если вам угодно.

Жирный подрумяненный гусь лежал на одном конце стола, а на другом конце, на подстилке из гофрированной бумаги, усыпанной зеленью петрушки, лежал большой окорок, уже без кожи, обсыпанный толчеными сухарями, с бумажной бахромой вокруг кости; и рядом — ростбиф с пряностями. Между этими солидными яствами вдоль по всему столу двумя параллельными рядами вытянулись тарелки с десертом: две маленькие башенки из красного и желтого желе; плоское блюдо с кубиками бланманже и красного мар-

мелада; большое зеленое блюдо в форме листа с ручкой в виде стебля, на котором были разложены горстки темно-красного изюма и горки очищенного миндаля, и другое такое же блюдо, на котором лежал слипшийся засахаренный инжир; соусник с кремом, посыпанным сверху тертым мускатным орехом; небольшая вазочка с конфетами — шоколадными и еще другими, в обертках из золотой и серебряной бумаги; узкая стеклянная ваза, из которой торчало несколько длинных стеблей сельдерея. В центре стола, по бокам подноса, на котором возвышалась пирамида из апельсинов и яблок, словно часовые на страже, стояли два старинных пузатых хрустальных графинчика, один — с портвейном, другой — с темным хересом. На опущенной крышке рояля дожидался своей очереди пудинг на огромном желтом блюде, а за ним три батареи бутылок — с портером, элем и минеральной водой, подобранных по цвету мундира: первые два в черном с красными и коричневыми ярлыками, последняя и не очень многочисленная — в белом с зелеными косыми перевязями.

Габриел с уверенным видом занял свое место во главе стола, поглядел на лезвие ножа и решительно воткнул вилку в гуся. Теперь он чувствовал

себя отлично; он умел мастерски разрезать жаркое и больше всего на свете любил сидеть вот так, во главе уставленного яствами стола.

— Мисс Ферлонг, — сказал он, — что вам дать? Крылышко или кусочек грудки?

— Грудку, пожалуйста, только самый маленький кусочек.

— Мисс Хиггинс, а вам?

— Что хотите, мне все равно, мистер Конрой.

Пока Габриел и мисс Дейли передавали тарелки с гусем, окороком и ростбифом, Лили обходила всех гостей с блюдом, на котором, завернутый в белую салфетку, лежал горячий рассыпчатый картофель. Это была идея Мэри Джейн, она же хотела было сделать к гусю яблочный соус, но тетя Кэт сказала, что она всю жизнь ела просто жареного гуся, без всяких яблочных соусов, и дай бог, чтоб и впредь было не хуже. Мэри Джейн угощала своих учениц и следила за тем, чтобы им достались лучшие куски, а тетя Кэт и тетя Джулия откупоривали возле рояля и передавали на стол бутылки с портером и элем — для мужчин и бутылки с минеральной водой — для дам. Было много суеты, смеха, шума — от голосов, отдававших противоречивые приказания, от звона ножей, и вилок, и стаканов о горлышко

графинов и хлопанья пробок. Как только гостей обнесли первой порцией гуся, Габриел тотчас начал резать по второй, не положив еще ничего на свою тарелку. Это вызвало шумные протесты, и Габриел в виде уступки отхлебнул хороший глоток портера, так как разрезать гуся оказалось нелегкой работой. Мэри Джейн уже спокойно сидела и ужинала, но тетя Кэт и тетя Джулия все еще семенили вокруг стола, наталкивались друг на друга, наступали друг другу на ноги и отдавали друг другу приказания, которых ни та, ни другая не слушали. Мистер Браун умолял их сесть за стол, о том же просил и Габриел, но они отнекивались, так что наконец Фредди Мэлинз встал и, схватив тетю Кэт, под общий смех силком усадил ее на стул.

Когда всем было все подано, Габриел, улыбаясь, сказал:

— Ну-с, если кому угодно получить, как говорят в просторечье, добавок, пусть тот соблаговолит высказаться.

Хор голосов потребовал, чтобы он сам наконец приступил к ужину, и Лили поднесла ему три картофелины, которые она сберегла для него.

— Слушаюсь, — любезно сказал Габриел и отхлебнул еще портера. — Пожалуйста, леди и

джентльмены, забудьте на несколько минут о моем существовании.

Он начал есть и не принимал участия в разговоре, заглушавшем стук тарелок, которые убирала Лили. Темой разговора была оперная труппа, гастролировавшая в Королевском театре. Мистер Бартелл д'Арси, тенор, смуглый молодой человек с изящными усиками, очень хвалил первое контральто, но мисс Ферлонг находила ее исполнение вульгарным. Фредди Мэлинз сказал, что в мюзик-холле во втором отделении выступает негритянский царек и у него замечательный тенор, лучший из всех, какие он когда-либо слышал.

— Вы его слышали? — спросил он через стол у мистера Бартелла д'Арси.

— Нет, — небрежно ответил мистер Бартелл д'Арси.

— Видите ли, — пояснил Фредди Мэлинз, — мне очень интересно знать ваше мнение. По-моему, у него замечательный голос.

— Тедди постоянно делает необыкновенные открытия, — с дружеской насмешкой сказал мистер Браун, обращаясь ко всему столу.

— А почему бы у него не быть хорошему голосу? — резко спросил Фредди Мэлинз. — Потому, что

он чернокожий?

Никто не ответил, и Мэри Джейн снова перевела разговор на классическую оперу. Одна из ее учениц достала ей контрамарку на «Миньон»[116]. Прекрасное было исполнение, но она не могла не вспомнить о бедной Джорджине Бернс. Мистер Браун ударился в воспоминания — о старых итальянских труппах, когда-то приезжавших в Дублин, о Тьетьенс, об Ильме де Мурзка, о Кампанини, о великом Требелли, Джульини, Равелли, Арамбуро. Да, в те дни, сказал он, в Дублине можно было услышать настоящее пение. Он рассказал также о том, как в старом Королевском театре[117] галерка каждый вечер бывала битком набита, как однажды итальянский тенор пять раз бисировал арию «Пусть, как солдат, я умру»[118] и всякий раз брал верхнее «до»; как иной раз ребята с галерки выпрягали лошадей из экипажа какой-нибудь примадонны и сами везли ее по улице до отеля. Почему теперь не ставят знаменитых старых

---

[116] notes: 116

«Миньон» (1866) — одна из самых популярных французских опер XIX столетия на музыку Амбруаза Тома (1811–1896) и либретто Мишеля Карре и Жюля Барбье.

[117] notes: 117

Сгорел в 1890 г., на его месте был построен Королевский театр.

[118] notes: 118

Ария из оперы «Маритана» У. В. Уоллеса.

опер — «Динору», «Лукрецию Борджиа»[119]? Да потому, что нет таких голосов, чтобы могли в них петь. Вот почему.

— Ну, — сказал мистер Бартелл д'Арси, — думаю, что и сейчас есть певцы не хуже, чем тогда.

— Где они? — вызывающе спросил мистер Браун.

— В Лондоне, в Париже, в Милане, — с жаром ответил мистер Бартелл д'Арси. — Карузо, например, наверно, не хуже, а пожалуй и лучше тех, кого вы называли.

— Может быть, — сказал мистер Браун, — но сильно сомневаюсь.

— Ах, я бы все отдала, только бы послушать Карузо, — сказала Мэри Джейн.

— Для меня, — сказала тетя Кэт, обгладывавшая косточку, — существовал только один тенор, который очень мне нравился. Но вы, наверно, о нем и не слышали.

— Кто же это, мисс Моркан? — вежливо спросил мистер Бартелл д'Арси.

— Паркинсон, — сказала тетя Кэт. — Я его слы-

---

[119] notes: 119

«Динора» (полное название «Плоэрмельское прощение», 1852), комическая опера Джакомо Мейербера (1791–1864) на либретто Жюля Барбье и Мишеля Карре. «Лукреция Борджиа» (1833) — итальянская опера на либретто Феличе Романи по мотивам одноименной пьесы В. Гюго.

шала, когда он был в самом расцвете, и скажу вам, такого чистого тенора не бывало еще ни у одного мужчины.

— Странно, — сказал мистер Бартелл д'Арси, — я никогда о нем не слышал.

— Нет, нет, мисс Моркан права, — сказал мистер Браун. — Я припоминаю, я слышал о старике Паркинсоне, но сам он — это уж не на моей памяти.

— Прекрасный, чистый, нежный и мягкий, настоящий английский тенор, — восторженно сказала тетя Кэт.

Габриел доел жаркое, и на стол поставили огромный пудинг. Опять застучали вилки и ложки. Жена Габриела раскладывала пудинг по тарелкам и передавала их дальше. На полпути их задерживала Мэри Джейн и подбавляла малинового или апельсинового желе или бланманже и мармеладу. Пудинг готовила тетя Джулия, и теперь на нее со всех сторон сыпались похвалы. Сама она находила, что он недостаточно румяный.

— Ну, мисс Моркан, — сказал мистер Браун, — в таком случае я как раз в вашем вкусе; я, слава богу, достаточно румяный.

Все мужчины, кроме Габриела, съели немного пудинга, чтобы сделать приятное тете Джулии,

Габриел никогда не ел сладкого, поэтому для него оставили сельдерей. Фредди Мэлинз тоже взял стебелек сельдерея и ел его с пудингом. Он слышал, что сельдерей очень полезен при малокровии, а он как раз сейчас лечился от малокровия. Миссис Мэлинз, за все время ужина не проронившая ни слова, сказала, что ее сын думает через неделю-другую уехать на гору Меллерей[120]. Тогда все заговорили о горе Меллерей, о том, какой там живительный воздух и какие гостеприимные монахи — никогда не спрашивают платы с посетителей.

— Вы хотите сказать, — недоверчиво спросил мистер Браун, — что можно туда поехать и жить, словно в гостинице, и кататься как сыр в масле, а потом уехать и ничего не заплатить?

— Конечно, почти все что-нибудь жертвуют на монастырь, когда уезжают, — сказала Мэри Джейн.

— Право, недурно бы, чтобы и у протестантов были такие учреждения, — простодушно сказал мистер Браун.

Он очень удивился, узнав, что монахи никогда

---

[120] notes: 120

На горе Меллерей, расположенной в южной части Ирландии, находится монастырь траппистов, ордена, отличающегося очень строгими правилами в духе восточной аскезы.

не разговаривают, встают в два часа ночи и спят в гробах. Он спросил, зачем они это делают.

— Таков устав ордена, — твердо сказала тетя Кэт.

— Ну, да, — сказал мистер Браун, — но зачем?

Тетя Кэт повторила, что таков устав, вот и все. Мистер Браун продолжал недоумевать. Фредди Мэлинз объяснил ему, как умел, что монахи делают это во искупление грехов, совершенных всеми грешниками на земле. Объяснение было, по-видимому, не совсем ясным, потому что мистер Браун ухмыльнулся и сказал:

— Очень интересная мысль, но только почему все-таки гроб для этого удобней, чем пружинный матрац?

— Гроб, — сказала Мэри Джейн, — должен напоминать им о смертном часе.

По мере того как разговор становился все мрачней, за столом водворялось молчание, и в тишине стало слышно, как миссис Мэлинз невнятным шепотом говорила своему соседу:

— Очень почтенные люди, эти монахи, очень благочестивые.

Теперь по столу передавали изюм и миндаль, инжир, яблоки и апельсины, шоколад и конфеты, и тетя Джулия предлагала всем портвейна или

хереса. Мистер Бартелл д'Арси сперва отказался и от того, и от другого, но один из его соседей подтолкнул его локтем и что-то шепнул ему, после чего он разрешил наполнить свой стакан. По мере того как наполнялись стаканы, разговор смолкал. Настала тишина, нарушаемая только бульканьем вина и скрипом стульев. Все три мисс Моркан смотрели на скатерть. Кто-то кашлянул, и затем кто-то из мужчин легонько постучал по столу, призывая к молчанию. Молчание воцарилось, Габриел отодвинул свой стул и встал.

Тотчас в знак одобрения стук стал громче, но потом мгновенно стих. Габриел всеми своими десятью дрожащими пальцами оперся о стол и нервно улыбнулся присутствующим. Взгляд его встретил ряд обращенных к нему лиц, и он перевел глаза на люстру. В гостиной рояль играл вальс, и Габриел, казалось, слышал шелест юбок, задевавших о дверь. На набережной под окнами, может быть, стояли люди, смотрели на освещенные окна и прислушивались к звукам вальса. Там воздух был чист. Подальше раскинулся парк, и на деревьях лежал снег. Памятник Веллингтону был в блестящей снежной шапке; снег кружился, летя на запад над белым пространством Пятнадцати

Акров[121].

Он начал:

— Леди и джентльмены! Сегодня, как и в прошлые годы, на мою долю выпала задача, сама по себе очень приятная, но, боюсь, слишком трудная для меня, при моих слабых ораторских способностях.

— Что вы, что вы, — сказал мистер Браун.

— Как бы то ни было, прошу вас, не приписывайте недостатки моей речи недостатку усердия с моей стороны и уделите несколько минут внимания моей попытке облечь в слова то, что я чувствую.

Леди и джентльмены, не в первый раз мы собираемся под этой гостеприимной кровлей, вокруг этого гостеприимного стола. Не в первый раз мы становимся объектами или, быть может, лучше сказать — жертвами гостеприимства неких известных нам особ.

Он описал рукой круг в воздухе и сделал паузу. Кто засмеялся, кто улыбнулся тете Кэт, тете Джулии и Мэри Джейн которые покраснели от удовольствия. Габриел продолжал смелее:

— С каждым годом я все больше чувствую, что

---

[121] notes: 121
Центральная часть Феникс-Парка.

среди традиций нашей страны нет традиции более почетной и более достойной сохранения, чем традиция гостеприимства. Из всех стран Европы — а мне пришлось побывать во многих — одна лишь наша родина поддерживает эту традицию. Мне возразят, пожалуй, что у нас это скорее слабость, чем достоинство, которым можно было бы хвалиться. Но даже если так, это, на мой взгляд, благородная слабость, и я надеюсь, что она еще долго удержится в нашей стране. В одном, по крайней мере, я уверен: пока под этой кровлей будут жить три упомянутые мной особы — а я от всего сердца желаю им жить еще многие годы, — до тех пор не умрет среди нас традиция радушного, сердечного, учтивого ирландского гостеприимства, традиция, которую нам передали наши отцы и которую мы должны передать нашим детям.

За столом поднялся одобрительный ропот. Габриел вдруг вспомнил, что мисс Айворз нет среди гостей и что она ушла крайне неучтиво; и он продолжал уверенным голосом:

— Леди и джентльмены!

Растет новое поколение, воодушевляемое новыми идеями и исповедующее новые принципы. Это серьезное, полное энтузиазма поколение,

и, даже если эти новые идеи ошибочны, а силы расходуются впустую, порывы их, на мой взгляд, искренни. Но мы живем в скептическую и, если позволено мне будет так выразиться, разъедаемую мыслью эпоху, и я начинаю иногда бояться, что этому образованному и сверхобразованному поколению не хватает, быть может, доброты, гостеприимства, благодушия, которые отличали людей в старые дни. Прислушиваясь сегодня к именам великих певцов прошлого, я думал о том, что мы, надо сознаться, живем в менее щедрую эпоху. Те дни можно без преувеличения назвать щедрыми днями, и если они теперь ушли от нас без возврата, то будем надеяться, по крайней мере, что в таких собраниях, как сегодня, мы всегда будем вспоминать о них с гордостью и любовью, будем хранить в сердцах наших память о великих умерших, чьи имена и чью славу мир не скоро забудет.

— Слушайте, слушайте, — громко сказал мистер Браун.

— Но есть и более грустные мысли, — продолжал Габриел, и его голос приобрел мягкие интонации, — которые всегда будут посещать нас во время таких собраний, как сегодня: мысли о прошлом, о юности, о переменах, о друзьях,

которых уже нет с нами. Наш жизненный путь усеян такими воспоминаниями; и если бы мы всегда им предавались, мы не нашли бы в себе мужества продолжать наш труд среди живых. А у нас, у каждого, есть долг по отношению к живым, есть привязанности, и жизнь имеет право, законное право, требовать от нас, чтобы мы отдали ей большую часть себя.

Поэтому я не буду долго останавливаться на прошлом. Я не позволю своей речи обратиться в угрюмую проповедь. Мы собрались здесь на краткий час вдали от суеты и шума повседневности. Мы собрались здесь как друзья, как коллеги, объединенные чувством дружбы и также, до известной степени, духом истинной «camaraderie»[122], мы собрались здесь как гости — если позволено мне будет так выразиться — трех граций дублинского музыкального мира.

Все разразились смехом и аплодисментами при этих словах. Тетя Джулия тщетно просила по очереди всех своих соседей объяснить ей, что сказал Габриел.

— Он сказал, что мы — три грации, тетя Джулия, — ответила Мэри Джейн.

---

[122] notes: 122
Товарищество *(франц.).*

Тетя Джулия не поняла, но с улыбкой посмотрела на Габриела, который продолжал с прежним воодушевлением:

— Леди и джентльмены!

Я не стану пытаться сегодня играть роль Париса. Я не стану пытаться сделать выбор между ними. Это неблагодарная задача, да она мне и не по силам. Ибо, когда я смотрю на них — на старшую ли нашу хозяйку, о добром, слишком добром сердце которой знают все с ней знакомые; на ее ли сестру, одаренную как бы вечной юностью, чье пение было для нас сегодня сюрпризом и откровением; на младшую ли из наших хозяек — талантливую, трудолюбивую, всегда веселую, самую любящую из племянниц, — я должен сознаться, леди и джентльмены, что я не знаю, кому из них отдать предпочтение.

Габриел взглянул на своих теток и, видя широкую улыбку на лице тети Джулии и слезы на глазах тети Кэт, поспешил перейти к заключению. Он высоко поднял стакан с портвейном, гости тоже выжидательно взялись за стаканы, и громко сказал:

— Выпьем же за всех трех вместе. Пожелаем им здоровья, богатства, долгой жизни, счастья и благоденствия; пусть они еще долго занимают

высокое, по праву им доставшееся место в рядах своей профессии, так же как и любовью и уважением уготованное им место в наших сердцах!

Все гости встали со стаканами в руках и, повернувшись к трем оставшимся сидеть хозяйкам, дружно подхватили песню, которую затянул мистер Браун:

Что они славные ребята,
Что они славные ребята,
Что они славные ребята,
Никто не станет отрицать.

Тетя Кэт, не скрываясь, вытирала глаза платком, и даже тетя Джулия, казалось, была взволнована. Фредди Мэлинз отбивал такт вилкой, и поющие, повернувшись друг к другу, словно совещаясь между собой, запели с увлечением:

Разве что решится
Бессовестно солгать…

Потом, снова повернувшись к хозяйкам, они запели:

Что они славные ребята,
Что они славные ребята,

Что они славные ребята,
Никто не станет отрицать.

За этим последовали шумные аплодисменты, подхваченные за дверью столовой другими гостями и возобновлявшиеся много раз, меж тем как Фредди Мэлинз, высоко подняв вилку, дирижировал ею, словно церемониймейстер.

Холодный утренний воздух ворвался в холл, где они стояли, и тетя Кэт крикнула:

— Закройте кто-нибудь дверь. Миссис Мэлинз простудится.

— Там Браун, тетя Кэт, — сказала Мэри Джейн.

— Этот повсюду, — сказала тетя Кэт, понизив голос.

Мэри Джейн засмеялась.

— Ну вот, — сказала она лукаво, — а он такой внимательный.

— Да, наш пострел везде поспел, — сказала тетя Кэт тем же тоном.

При этом она сама добродушно рассмеялась и добавила поспешно:

— Да скажи ему, Мэри Джейн, чтобы он вошел в дом и закрыл за собой дверь. Надеюсь, что он меня не слышал.

В эту минуту передняя дверь распахнулась и на

пороге появился мистер Браун, хохоча так, что, казалось, готов был лопнуть. На нем было длинное зеленое пальто с воротником и манжетами из поддельного каракуля, на голове — круглая меховая шапка. Он показывал куда-то в сторону заметенной снегом набережной, откуда доносились долгие пронзительные свистки.

— Тедди там сзывает кебы со всего Дублина, — сказал он.

Из чулана позади конторы вышел Габриел, натягивая на ходу пальто, и, оглядевшись, сказал:

— Грета еще не выходила?

— Она одевается, Габриел, — сказала тетя Кэт.

— Кто там играет? — спросил Габриел.

— Никто. Все ушли.

— Нет, тетя Кэт, — сказала Мэри Джейн. — Бартелл д'Арси и мисс О'Каллаган еще не ушли.

— Кто-то там бренчит на рояле, во всяком случае, — сказал Габриел.

Мэри Джейн посмотрела на Габриела и мистера Брауна и сказала, передернув плечами:

— Дрожь берет даже смотреть на вас, таких закутанных. Ни за что не хотела бы быть на вашем месте. Идти по холоду в такой час!

— А для меня, — мужественно сказал мистер Браун, — самое приятное сейчас было бы хоро-

шенько пройтись где-нибудь за городом или прокатиться на резвой лошадке.

— У нас дома когда-то была хорошая лошадь и двуколка, — грустно сказала тетя Джулия.

— Незабвенный Джонни, — сказала Мэри Джейн и засмеялась. Тетя Кэт и Габриел тоже засмеялись.

— А чем Джонни был замечателен? — спросил мистер Браун.

— Блаженной памяти Патрик Моркан, наш дедушка, — пояснил Габриел, — которого в последние годы жизни иначе не называли, как «старый джентльмен», занимался тем, что изготовлял столярный клей.

— Побойся бога, Габриел, — сказала тетя Кэт, смеясь, — у него был крахмальный завод.

— Ну уж, право, не знаю, клей он делал или крахмал, — сказал Габриел, — но только была у старого джентльмена лошадь, по прозвищу Джонни. Джонни работал у старого джентльмена на заводе, ходил себе по кругу и вертел жернов. Все очень хорошо. Но дальше начинается трагедия. В один прекрасный день старый джентльмен решил, что недурно бы и ему вместе с высшим обществом выехать в парк в собственном экипаже — полюбоваться военным парадом.

— Помилуй, господи, его душу, — сокрушенно сказала тетя Кэт.

— Аминь, — сказал Габриел. — Итак, как я уже сказал, старый джентльмен запряг Джонни в двуколку, надел свой самый лучший цилиндр, свой самый лучший шелковый галстук и с великой пышностью выехал из дома своих предков, помещавшегося, если не ошибаюсь, где-то на Бэк-Лейн.

Все засмеялись, даже миссис Мэлинз, а тетя Кэт сказала:

— Ну что ты, Габриел, он вовсе не жил на Бэк-Лейн. Там был только завод.

— Из дома своих предков, — продолжал Габриел, — выехал он на Джонни. И все шло отлично, пока Джонни не завидел памятник королю Билли[123]. То ли ему так понравилась лошадь, на которой сидит король Билли, то ли ему померещилось, что он опять на заводе, но только он, недолго думая, давай ходить вокруг памятника.

Габриел в своих галошах медленно прошелся по холлу под смех всех присутствующих.

---

[123] notes: 123

Имеется в виду статуя короля Вильгельма Оранского (1650–1702) на Колледж-Грин — эту статую чтили протестанты и ненавидели католики, которые уничижительно называли короля Билли и пользовались любой возможностью изуродовать ее — вымазывали краской, писали оскорбления.

— Ходит и ходит себе по кругу, — сказал Габриел, — а старый джентльмен, кстати весьма напыщенный, пришел в крайнее негодование: «Но-о, вперед, сэр! Что это вы выдумали, сэр! Джонни! Джонни! В высшей степени странное поведение! Не понимаю, что это с лошадью!»

Смех, не умолкавший, пока Габриел изображал в лицах эту сцену, был прерван громким стуком в дверь. Мэри Джейн побежала открыть и впустила Фредди Мэлинза. У Фредди Мэлинза шляпа съехала на затылок, он ежился от холода, пыхтел и отдувался после своих трудов.

— Я достал только один кеб, — сказал он.

— Найдем еще на набережной, — сказал Габриел.

— Да, — сказала тетя Кэт, — идите уж, не держите миссис Мэлинз на сквозняке.

Мистер Браун и Фредди свели миссис Мэлинз по лестнице и после весьма сложных маневров впихнули ее в кеб. Затем туда же влез Фредди Мэлинз и долго возился, усаживая ее поудобней, а мистер Браун стоял рядом и давал советы. Наконец ее устроили, и Фредди Мэлинз пригласил мистера Брауна сесть в кеб. Кто-то что-то говорил, и затем мистер Браун влез в кеб. Кебмен закутал себе ноги полостью и, нагнувшись, спросил адрес.

Все снова заговорили, и кебмен получил сразу два разноречивых приказания от Фредди Мэлинза и от мистера Брауна, высунувшихся в окна по бокам кеба — один с одной стороны, другой — с другой. Вопрос был в том, где именно по дороге ссадить мистера Брауна; тетя Кэт, тетя Джулия и Мэри Джейн, стоя в дверях, тоже приняли участие в споре, поддерживая одни мнения, оспаривая другие и сопровождая все это смехом. Фредди Мэлинз от смеха не мог говорить. Он ежесекундно то высовывал голову в окно, то втягивал ее обратно, к великому ущербу для своей шляпы, и сообщал своей матери о ходе спора, пока, наконец, мистер Браун, перекрывая общий смех, не закричал сбитому с толку кебмену:

— Знаете, где Тринити-колледж?

— Да, сэр, — сказал кебмен.

— Гоните во всю мочь туда.

— Слушаю, сэр, — сказал кебмен.

Он стегнул лошадь кнутом, и кеб покатил по набережной, провожаемый смехом и прощальными возгласами.

Габриел не вышел на порог. Он остался в холле и смотрел на лестницу. Почти на самом верху, тоже в тени, стояла женщина. Он не видел ее лица, но мог различить терракотовые и желто-розовые

полосы на юбке, казавшиеся в полутьме черными и белыми. Это была его жена. Она облокотилась о перила, прислушиваясь к чему-то. Габриела удивила ее неподвижность, и он напряг слух, стараясь услышать то, что слушала она. Но он мало что мог услышать: кроме смеха и шума спорящих голосов на пороге — несколько аккордов на рояле, несколько нот, пропетых мужским голосом.

Он неподвижно стоял в полутьме, стараясь уловить мелодию, которую пел голос, и глядя на свою жену. В ее позе были грация и тайна, словно она была символом чего-то. Он спросил себя, символом чего была эта женщина, стоящая во мраке лестницы, прислушиваясь к далекой музыке. Если бы он был художником, он написал бы ее в этой позе. Голубая фетровая шляпа оттеняла бы бронзу волос на фоне тьмы, и темные полосы на юбке рельефно ложились бы рядом со светлыми. «Далекая музыка» — так он назвал бы эту картину, если бы был художником.

Хлопнула входная дверь, и тетя Кэт, тетя Джулия и Мэри Джейн, все еще смеясь, вернулись в холл.

— Невозможный человек этот Фредди, — сказала Мэри Джейн. — Просто невозможный.

Габриел ничего не ответил и показал на лест-

ницу, туда, где стояла его жена. Теперь, когда входная дверь была закрыта, голос и рояль стали слышней. Габриел поднял руку, призывая к молчанию. Песня была на старинный ирландский лад, и певец, должно быть, не был уверен ни в словах, ни в своем голосе. Этот голос, далекий и осипший, неуверенно выводил мелодию, которая лишь усиливала грусть слов:

Ах, дождь мне мочит волосы,
И роса мне мочит лицо,
Дитя мое уже холодное…

— Боже мой, — воскликнула Мэри Джейн, — это же поет Бартелл д'Арси. А он ни за что не хотел петь сегодня. Ну, теперь я его заставлю спеть перед уходом.

— Заставь, заставь, Мэри Джейн, — сказала тетя Кэт.

Мэри Джейн пробежала мимо остальных, направляясь к лестнице, но раньше, чем она успела подняться по ступенькам, пение прекратилось и хлопнула крышка рояля.

— Какая досада! — воскликнула она. — Он идет вниз, Грета?

Габриел услышал, как его жена ответила «да», и увидел, что она начала спускаться по лестнице.

В нескольких шагах позади нее шли мистер Бартелл д'Арси и мисс О'Каллаган.

— О, мистер д'Арси, — воскликнула Мэри Джейн, — ну можно ли так поступать — обрывать пение, когда мы все с таким восторгом вас слушали!..

— Я его упрашивала весь вечер, — сказала мисс О'Каллаган, — и миссис Конрой тоже, но он сказал, что простужен и не может петь.

— Ах, мистер д'Арси, — сказала тетя Кэт, — не стыдно вам так выдумывать?

— Что, вы не слышите, что я совсем охрип? — грубо сказал мистер д'Арси.

Он поспешно прошел в кладовую и стал надевать пальто. Остальные, смущенные его грубостью, не нашлись что сказать. Тетя Кэт, сдвинув брови, показывала знаками, чтоб об этом больше не говорили. Мистер д'Арси тщательно укутывал горло и хмурился.

— Это от погоды, — сказала тетя Джулия после молчания.

— Да, сейчас все простужены, — с готовностью поддержала тетя Кэт, — решительно все.

— Говорят, — сказала Мэри Джейн, — что такого снега не было уже лет тридцать, и я сегодня читала в газете, что по всей Ирландии выпал снег.

— Я люблю снег, — грустно сказала тетя Джу-

лия.

— Я тоже, — сказала мисс О'Каллаган, — без снега и рождество не рождество.

— Мистер д'Арси не любит снега, бедняжка, — сказала тетя Кэт улыбаясь.

Мистер д'Арси вышел из кладовки, весь укутанный и застегнутый, и, как бы извиняясь, поведал им историю своей простуды. Все принялись давать ему советы и выражать сочувствие и упрашивать его быть осторожней, потому что ночной воздух так вреден для горла. Габриел смотрел на свою жену, не принимавшую участия в разговоре. Она стояла как раз против окошечка над входной дверью, и свет от газового фонаря играл на ее блестящих бронзовых волосах; Габриел вспомнил, как несколько дней тому назад она сушила их после мытья перед камином. Она стояла сейчас в той же позе, как на лестнице, и, казалось, не слышала, что говорят вокруг нее. Наконец она повернулась, и Габриел увидел, что на ее щеках — румянец, а ее глаза сияют. Его охватила внезапная радость.

— Мистер д'Арси, — сказала она, — как называется эта песня, что вы пели?

— Она называется «Девушка из Аугрима»[124], — сказал мистер д'Арси, — но я не мог ее толком вспомнить. А что? Вы ее знаете?

— «Девушка из Аугрима», — повторила она. — Я не могла вспомнить название.

— Очень красивый напев, — сказала Мэри Джейн. — Жаль, что вы сегодня не в голосе.

— Мэри Джейн, — сказала тетя Кэт, — не надоедай мистеру д'Арси. Я больше не разрешаю ему надоедать.

Видя, что все готовы, она повела их к двери; и начались прощания:

— Доброй ночи, тетя Кэт, и спасибо за приятный вечер.

— Доброй ночи, Габриел, доброй ночи, Грета.

— Доброй ночи, тетя Кэт, и спасибо за все. Доброй ночи, тетя Джулия.

— Доброй ночи, Греточка, я тебя и не заметила.

— Доброй ночи, мистер д'Арси. Доброй ночи, мисс О'Каллаган.

— Доброй ночи, мисс Моркан.

— Доброй ночи, еще раз.

— Доброй ночи всем. Счастливо добраться.

— Доброй ночи. Доброй ночи.

---

[124] notes: 124

Народная ирландская песня. Аугрим — небольшой городок на западе Ирландии.

Было еще темно. Тусклый желтый свет навис над домами и над рекой; казалось, небо опускается на землю. Под ногами слякоть, и снег только полосами и пятнами лежал на крышах, на парапете набережной, на прутьях ограды. В густом воздухе фонари еще светились красным светом, и за рекой Дворец четырех палат[125] грозно вздымался в тяжелое небо.

Она шла впереди, рядом с мистером Бартеллом д'Арси, держа под мышкой туфли, завернутые в бумагу, а другой рукой подбирая юбку. Сейчас в ней уже не было грации, но глаза Габриела все еще сияли счастьем. Кровь стремительно бежала по жилам, в мозгу проносились мысли — гордые, радостные, нежные, смелые.

Онашла впереди, ступая так легко, держась так прямо, что ему хотелось бесшумно побежать за ней, поймать ее за плечи, шепнуть ей на ухо что-нибудь смешное и нежное. Она казалась такой хрупкой, что ему хотелось защитить ее от чего-то, а потом остаться с ней наедине. Минуты их тайной общей жизни зажглись в его памяти, как звезды. Сиреневый конверт лежал на столе возле его чашки, и он гладил его рукой. Птицы

---

[125] notes: 125
Четыре палаты — дублинские судебные учреждения.

чирикали в плюще, и солнечная паутина занавески мерцала на полу; он не мог есть от счастья. Они стояли в толпе на перроне, и он засовывал билет в ее теплую ладонь под перчатку. Он стоял с ней на холоде, глядя сквозь решетчатое окно на человека, который выдувал бутылки возле ревущей печи. Было очень холодно.

Ее лицо, душистое в холодном воздухе, было совсем близко от его лица, и внезапно он крикнул человеку, стоявшему у печи:

— Что, сэр, огонь горячий?

Но человек не расслышал его сквозь рев печи. И хорошо, что не расслышал. Он бы, пожалуй, ответил грубостью. Волна еще более бурной радости накатила на него и разлилась по жилам горячим потоком. Как нежное пламя звезд, минуты их интимной жизни, о которой никто не знал и никогда не узнает, вспыхнули и озарили его память. Он жаждал напомнить ей об этих минутах, заставить ее забыть тусклые годы их совместного существования и помнить только эти минуты восторга. Годы, чувствовал он, оказались не властны над их душами. Дети, его творчество, ее домашние заботы не погасили нежное пламя их душ. Однажды в письме к ней он написал: «Почему все эти слова кажутся мне

такими тусклыми и холодными? Не потому ли, что нет слова, достаточно нежного, чтобы им назвать тебя?»

Как далекая музыка, дошли к нему из прошлого эти слова, написанные им много лет тому назад. Он жаждал остаться с ней наедине. Когда все уйдут, когда он и она останутся в комнате отеля, тогда они будут вдвоем, наедине. Он тихо позовет:

— Грета!

Может быть, она сразу не услышит; она будет раздеваться. Потом что-то в его голосе поразит ее. Она обернется и посмотрит на него…

На Уайнтаверн-Стрит им попался кеб. Он был рад, что шум колес мешает им разговаривать. Она смотрела в окно и казалась усталой. Мелькали здания, дома, разговор то начинался, то стихал. Лошадь вяло трусила под тяжелым утренним небом, таща за собой старую дребезжащую коробку, и Габриел опять видел себя и ее в кебе, который несся на пристань к пароходу, навстречу их медовому месяцу.

Когда кеб проезжал через мост О'Коннела, мисс О'Каллаган сказала:

— Говорят, что всякий раз, как переезжаешь через мост О'Коннела, непременно видишь бе-

лую лошадь.

— На этот раз я вижу белого человека, — сказал Габриел.

— Где? — спросил мистер Бартелл д'Арси.

Габриел показал на памятник[126], на котором пятнами лежал снег. Потом дружески кивнул ему и помахал рукой.

— Доброй ночи, Дэн, — сказал он весело.

Когда кеб остановился перед отелем, Габриел выпрыгнул и, невзирая на протесты мистера Бартелла д'Арси, заплатил кебмену. Он дал ему шиллинг на чай. Кебмен приложил руку к шляпе и сказал:

— Счастливого Нового года, сэр.

— И вам тоже, — сердечно ответил Габриел.

Она оперлась на его руку, когда выходила из кеба и потом, когда они вместе стояли на тротуаре, прощаясь с остальными. Она легко оперлась на его руку, так же легко, как танцевала с ним вместе несколько часов тому назад. Он был счастлив тогда и горд; счастлив, что она принадлежит ему,

---

[126] notes: 126

Имеется в виду статуя Дэниеля О'Коннелла (1775–1847); которого ниже Габриел назовет Дэном. Лидер ирландского национально-освободительного движения, его либерального крыла. Боролся против ограничения избирательных прав католиков. После проведения в Ирландии акта об эмансипации католиков в 1829 г. его стали называть «Освободителем».

горд, что она так грациозна и женственна. Но теперь, после того, как в нем воскресло столько воспоминаний, прикосновение ее тела, певучее, и странное, и душистое, пронзило его внезапным и острым желанием. Под покровом ее молчания он крепко прижал к себе ее руку, и, когда они стояли перед дверью отеля, он чувствовал, что они ускользнули от своих жизней и своих обязанностей, ускользнули от своего дома и от своих друзей и с трепещущими и сияющими сердцами идут навстречу чему-то новому.

В вестибюле в большом кресле с высокой спинкой дремал старик. Он зажег в конторе свечу и пошел впереди них по лестнице. Они молча шли за ним, ноги мягко ступали по ступенькам, покрытым толстым ковром. Она поднималась по лестнице вслед за швейцаром, опустив голову, ее хрупкие плечи сгибались, словно под тяжестью, талию туго стягивал пояс. Ему хотелось обнять ее, изо всех сил прижать к себе, его руки дрожали от желания схватить ее, и, только вонзив ногти в ладони, он смог подавить неистовый порыв. Швейцар остановился на ступеньке — поправить оплывшую свечу. Они тоже остановились, ступенькой ниже. В тишине Габриел слышал, как падает растопленный воск на поднос, как стучит

в груди его собственное сердце.

Швейцар повел их по коридору и открыл дверь. Потом он поставил тоненькую свечу на туалетный столик и спросил, в котором часу их разбудить.

— В восемь, — сказал Габриел.

Швейцар показал на электрический выключатель на стене и начал бормотать какие-то извинения, но Габриел прервал его:

— Нам не нужен свет. Нам довольно света с улицы. А это, — прибавил он, показывая на свечу, — тоже унесите.

Швейцар взял свечу, но не сразу, так как был поражен столь странным приказанием. Потом пробормотал: «Доброй ночи» — и вышел. Габриел повернул ключ в замке.

Призрачный свет от уличного фонаря длинной полосой шел от окна к двери. Габриел сбросил пальто и шапку на кушетку и прошел через комнату к окну. Он постоял, глядя вниз на улицу, выжидая, пока немного стихнет его волнение. Потом он повернулся и прислонился к комоду, спиной к свету. Она уже сняла шляпу и манто и стояла перед большим трюмо, расстегивая корсаж. Габриел подождал несколько минут, наблюдая за ней, потом сказал:

— Грета!

Она медленно повернулась от зеркала и по световой полосе пошла к нему. У нее было такое задумчивое и усталое лицо, что слова застыли на губах Габриела. Нет, сейчас еще не время.

— У тебя усталый вид, — сказал он.

— Я устала немножко, — ответила она.

— Тебе нехорошо? Или нездоровится?

— Нет, просто устала.

Она подошла к окну и остановилась, глядя на улицу.

Габриел еще подождал и, чувствуя, что им овладевает смущение, сказал внезапно:

— Кстати, Грета!

— Что?

— Знаешь, этот Фредди Мэлинз… — быстро сказал он.

— Ну?

— Он, оказывается, не так уж безнадежен, — продолжал Габриел фальшивым тоном, — вернул мне соверен, который я ему одолжил. А я на этот долг уже махнул рукой. Жаль, что он все время с этим Брауном. Сам он, право, неплохой парень.

Он весь дрожал от досады. Почему она кажется такой далекой? Он не знал, как начать. Или она тоже чем-то раздосадована? Если б она оберну-

лась к нему, сама подошла! Взять ее такой было бы насилием. Он должен сперва увидеть ответное пламя в ее глазах. Он жаждал победить ее отчужденность.

— Когда ты дал ему этот соверен? — спросила она, помолчав. Габриел сделал усилие над собой, чтобы не послать ко всем чертям пьянчужку Мэлинза вместе с его совереном. Он всем своим существом тянулся к ней, жаждал стиснуть в объятиях ее тело, подчинить ее себе. Но он сказал:

— На рождество, когда он затеял торговлю рождественскими открытками на Генри-Стрит.

От гнева и желания его трясло как в лихорадке. Он и не заметил, как она отошла от окна. Секунду она постояла перед ним, странно глядя на него. Затем, внезапно привстав на цыпочки и легко положив ему руки на плечи, она поцеловала его.

— Ты очень добрый, Габриел, — сказала она.

Габриел, дрожа от радости, изумленный этим неожиданным поцелуем и странной фразой, которую она произнесла, начал нежно гладить ее по волосам, едва прикасаясь к ним пальцами. Они были мягкие и шелковистые после мытья. Сердце его переполнилось счастьем. Как раз тогда, когда он так этого ждал, она сама подошла к нему. Может быть, их мысли текли согласно.

Может быть, она почувствовала неудержимое желание, которое было в нем, и ей захотелось покориться. Теперь, когда она так легко уступала, он не понимал, что его смущало раньше.

Он стоял, держа ее голову между ладонями. Потом быстро обнял ее одной рукой и, привлекая ее к себе, тихо сказал:

— Грета, дорогая, о чем ты думаешь?

Она промолчала и не ответила на его объятие. Он снова тихо сказал:

— Скажи мне, Грета, что с тобой? Мне кажется, я знаю. Я знаю, Грета?

Она ответила не сразу. Потом вдруг воскликнула, заливаясь слезами:

— Я думаю об этой песне, «Девушка из Аугрима».

Она вырвалась, отбежала к кровати и, схватив спинку руками, спрятала лицо. Габриел на миг окаменел от удивления, потом подошел к ней. В трюмо он мельком увидел себя во весь рост — широкий выпуклый пластрон рубашки, лицо, выражение которого всегда его удивляло, когда ему случалось увидеть себя в зеркале, поблескивавшая золотая оправа очков. Он остановился в нескольких шагах от нее и спросил:

— Да в чем дело? Почему ты плачешь?

Она подняла голову и вытерла глаза кулаком, как ребенок. Голос его прозвучал мягче, чем он хотел:

— Грета, почему?

— Я вспомнила человека, который давно-давно пел эту песню.

— Кто же это? — спросил Габриел, улыбаясь.

— Один человек, которого я знала еще в Голуэе, когда жила у бабушки, — сказала она.

Улыбка сошла с лица Габриела. Глухой гнев начал скопляться в глубине его сердца, и глухое пламя желания начало злобно тлеть в жилах.

— Ты была в него влюблена? — иронически спросил он.

— Это был мальчик, с которым я дружила, — ответила она, — его звали Майкл Фюрей. Он часто пел эту песню, «Девушка из Аугрима». Он был слабого здоровья.

Габриел молчал. Он не хотел, чтобы она подумала, что его интересует этот мальчик со слабым здоровьем.

— Я его как сейчас вижу, — сказала она через минуту. — Какие у него были глаза — большие, темные! И какое выражение глаз — какое выражение!

— Так ты до сих пор его любишь? — сказал

Габриел.

— Мы часто гуляли вместе, — сказала она, — когда я жила в Голуэе.

Внезапная мысль пронеслась в мозгу Габриела.

— Может быть, тебе поэтому так хочется поехать в Голуэй вместе с этой Айворз? — холодно спросил он.

Она взглянула на него и спросила удивленно:

— Зачем?

Под ее взглядом Габриел почувствовал себя неловко. Он пожал плечами и сказал:

— Почем я знаю? Чтоб повидаться с ним.

Она отвернулась и молча стала смотреть туда, где от окна шла полоса света.

— Он умер, — сказала она наконец. — Он умер, когда ему было только семнадцать лет. Разве это не ужасно — умереть таким молодым?

— Кто он был? — все еще иронически спросил Габриел.

— Он работал на газовом заводе, — сказала она.

Габриел почувствовал себя униженным — оттого, что его ирония пропала даром, оттого, что Гретой был вызван из мертвых этот образ мальчика, работавшего на газовом заводе. Когда он сам был так полон воспоминаниями об их

тайной совместной жизни, так полон нежности, и радости, и желания, в это самое время она мысленно сравнивала его с другим. Он вдруг со стыдом и смущением увидел себя со стороны. Комический персонаж, мальчишка на побегушках у своих теток, сентиментальный неврастеник, исполненный добрых намерений, ораторствующий перед пошляками и приукрашающий свои животные влечения, жалкий фат, которого он только что мельком увидел в зеркале. Инстинктивно он повернулся спиной к свету, чтобы она не увидела краски стыда на его лице. Он еще пытался сохранить тон холодного допроса, но его голос прозвучал униженно и тускло, когда он заговорил.

— Ты была влюблена в этого Майкла Фюрея? — сказал он.

— Он был мне очень дорог, — сказала она.

Голос ее был приглушенным и печальным. Габриел, чувствуя, что теперь ему уже не удастся создать такое настроение, как ему хотелось, погладил ее руку и сказал тоже печально:

— А отчего он умер таким молодым, Грета? От чахотки?

— Я думаю, что он умер из-за меня, — ответила она.

Безотчетный страх вдруг охватил Габриела: в тот самый час, когда все было так близко, против него встало какое-то неосязаемое мстительное существо, в своем бесплотном мире черпавшее силы для борьбы с ним. Но он отогнал этот страх усилием воли и продолжал гладить ее руку. Он больше не задавал ей вопросов, потому что чувствовал, что она сама ему расскажет. Ее рука была теплой и влажной; она не отвечала на его прикосновение, но он продолжал ее гладить, точь-в-точь как в то весеннее утро гладил ее первое письмо к нему.

— Это было зимой, — сказала она, — в начале той зимы, когда я должна была уехать от бабушки и поступить в монастырскую школу здесь, в Дублине. А он в это время лежал больной в своей комнате в Голуэе и ему не разрешали выходить; о болезни уже написали его родным, в Оутэрард. Говорили, что у него чахотка или что-то в этом роде. Я так до сих пор и не знаю.

Она помолчала с минуту, потом вздохнула.

— Бедный мальчик, — сказала она. — Он очень любил меня и был такой нежный. Мы подолгу гуляли вместе, Габриел. Он учился петь, потому что это полезно для груди. У него был очень хороший голос, у бедняжки.

— Ну, а потом? — спросил Габриел.

— Потом мне уже пора было уезжать из Голуэя в монастырскую школу, а ему в это время стало хуже, и меня к нему не пустили. Я написала ему, что уезжаю в Дублин, а летом приеду и надеюсь, что к лету он будет совсем здоров.

Она помедлила, стараясь овладеть своим голосом, потом продолжала:

— В ночь перед отъездом я была у бабушки, в ее доме на Нанз-Айленд, укладывала вещи, как вдруг я услышала, что кто-то кидает камешками в окно. Окно было такое мокрое, что я ничего не могла рассмотреть; тогда я сбежала вниз, как была, в одном платье, и выбежала в сад через черный ход, и там, в конце сада, стоял он и весь дрожал.

— Ты ему не сказала, чтобы он шел домой? — спросил Габриел.

— Я умоляла его сейчас же уйти, сказала, что он умрет, если будет тут стоять под дождем. Но он сказал, что не хочет жить. Я как сейчас помню его глаза. Он стоял у стены, под деревом.

— И он ушел домой? — спросил Габриел.

— Да, он ушел домой. А через неделю после того, как я приехала в монастырь, он умер, и его похоронили в Оутэрарде, где жили его родные. О,

тот день, когда я узнала, что он умер!

Она умолкла, задыхаясь от слез, и, не в силах бороться с собой, бросилась ничком на постель и, рыдая, спрятала лицо в одеяло. Габриел еще минуту нерешительно держал ее руку в своих; потом, не смея вторгаться в ее горе, осторожно отпустил ее и тихо отошел к окну.

Она крепко спала.

Габриел, опершись на локоть, уже без всякого враждебного чувства смотрел на ее спутанные волосы и полуоткрытый рот, прислушиваясь к ее глубокому дыханию. Так, значит, в ее жизни было это романтическое воспоминание: из-за нее умерли. Теперь он уже почти без боли думал о том, какую жалкую роль в ее жизни играл он сам, ее муж. Он смотрел на нее, спящую, с таким чувством, словно они никогда не были мужем и женой. Он долго с любопытством рассматривал ее лицо, ее волосы; он думал о том, какой она была тогда, в расцвете девической красоты, и странная дружеская жалость к ней проникла в его душу. Он даже перед самим собой не соглашался признать, что ее лицо уже утратило красоту; но он знал, что это не то лицо, ради которого Майкл Фюрей не побоялся смерти.

Может быть, она не все ему рассказала. Его

взгляд обратился к стулу, на который она, раздеваясь, бросила свою одежду. Шнурок от нижней юбки свисал на пол. Один ботинок стоял прямо: мягкий верх загнулся набок; другой ботинок упал. Он с удивлением вспомнил, какая буря чувств кипела в нем час тому назад. Что ее вызвало? Ужин у теток, его собственная нелепая речь, вино и танцы, дурачества и смех, когда они прощались в холле, удовольствие от ходьбы вдоль реки по снегу. Бедная тетя Джулия. Она тоже скоро станет тенью, как Патрик Моркан и его лошадь. Он поймал это отсутствующее выражение в ее лице, когда она пела «В свадебном наряде». Может быть, скоро он будет сидеть в этой же самой гостиной, одетый в черное, держа цилиндр на коленях. Шторы будут опущены, и тетя Кэт будет сидеть рядом, плача и сморкаясь, и рассказывать ему о том, как умерла Джулия. Он будет искать слова утешения, но только беспомощные и ненужные слова будут приходить в голову.

Как холодно в комнате, у него застыли плечи. Он осторожно вытянулся под простыней, рядом с женою. Один за другим все они станут тенями. Лучше смело перейти в иной мир на гребне какой-нибудь страсти, чем увядать и жалко тускнеть с годами. Он думал о том, что та, что лежала

с ним рядом, долгие годы хранила в своем сердце память о глазах своего возлюбленного — таких, какими они были в ту минуту, когда он сказал ей, что не хочет жить.

Слезы великодушия наполнили глаза Габриела. Он сам никогда не испытал такого чувства, ни одна женщина не пробудила его в нем; но он знал, что такое чувство — это и есть любовь. Слезы застилали ему глаза, и в полумраке ему казалось, что он видит юношу под деревом, с которого капает вода. Другие тени обступали его. Его душа погружалась в мир, где обитали сонмы умерших. Он ощущал, хотя и не мог постичь, их неверное мерцающее бытие. Его собственное «я» растворялось в их сером неосязаемом мире; материальный мир, который эти мертвецы когда-то созидали и в котором жили, таял и исчезал.

Легкие удары по стеклу заставили его взглянуть на окно. Снова пошел снег. Он сонно следил, как хлопья снега, серебряные и темные, косо летели в свете от фонаря. Настало время и ему начать свой путь к закату. Да, газеты были правы: снег шел по всей Ирландии. Он ложился повсюду — на темной центральной равнине, на лысых холмах, ложился мягко на Алленских болотах и летел дальше, к западу, мягко ложась на темные

мятежные волны Шаннона[127]. Снег шел над одиноким кладбищем на холме, где лежал Майкл Фюрей. Снег густо намело на покосившиеся кресты, на памятники, на прутья невысокой ограды, на голые кусты терна. Его душа медленно меркла под шелест снега, и снег легко ложился по всему миру, приближая последний час, ложился легко на живых и мертвых.

[127] notes: 127

Алленские болота — болотистая местность в 25 милях от Дублина. Шаннон — самая большая река Ирландии протяженностью в 368 километров — представляет собой ряд озер, соединенных друг с другом протоками.

Джакомо Джойс
Перевод с английского Н. Киасашвили

Кто? Бледное лицо в ореоле пахучих мехов. Движения ее застенчивы и нервны. Она смотрит в лорнет.

Да: вздох. Смех. Взлет ресниц.

Паутинный почерк, удлиненные и изящные буквы, надменные и покорные: знатная молодая особа.

Я вздымаюсь на легкой волне ученой речи: Сведенборг[128], псевдо-Ареопагит[129], Мигель де Молинос[130], Иоахим Аббас[131]. Волна откатила.

---

[128] notes: 128

Эмануэль Сведенборг (1688–1772) — шведский ученый-натуралист, мистик, теософ.

[129] notes: 129

Псевдо-Ареопагит — имеется в виду первый афинский епископ Дионисий Ареопагит. Ему приписывалось отвергнутое еще в период Возрождения авторство ряда теологических сочинений (I в. н.э.).

[130] notes: 130

Мигель де Молинос (1628–1696) — испанский мистик и аскет, основоположник квиетизма, религиозно-этического учения, проповедующего мистически созерцательное отношение к миру, пассивность, полное подчинение божественной воле.

[131] notes: 131
Иоахим Аббас (1145–1202) — итальянский теолог.

Ее классная подруга, извиваясь змеиным телом, мурлычет на бескостном венско-итальянском. Che coltura![132] Длинные ресницы взлетают: жгучее острие иглы в бархате глаз жалит и дрожит.

Высокие каблучки пусто постукивают по гулким каменным ступенькам. Холод в замке, вздернутые кольчуги, грубые железные фонари над извивами витых башенных лестниц. Быстро постукивающие каблучки, звонкий и пустой звук. Там, внизу, кто-то хочет поговорить с вашей милостью.

Она никогда не сморкается. Форма речи: малым сказать многое.

Выточенная и вызревшая: выточенная резцом внутрисемейных браков, вызревшая в оранжерейной уединенности своего народа. Молочное марево над рисовым полем вблизи Верчелли[133]. Опущенные крылья шляпы затеняют лживую улыбку. Тени бегут по лживой улыбке, по лицу, опаленному горячим молочным светом, сизые, цвета сыворотки тени под скулами, желточно-желтые тени на влажном лбу, прогоркло-желчная

---

[132] notes: 132
Какая культура! *(итал.)*

[133] notes: 133
Верчелли — город на северо-западе Италии.

усмешка в сощуренных глазах.

Цветок, что она подарила моей дочери. Хрупкий подарок, хрупкая дарительница, хрупкий прозрачный ребенок[134].

Падуя далеко за морем. Покой середины пути[135], ночь, мрак истории[136] дремлет под луной на Piazza delle Erbe[137]. Город спит. В подворотнях темных улиц у реки — глаза распутниц вылавливают прелюбодеев. Cinque servizi per cinque franchi[138]. Темная волна чувства, еще и еще и еще.

Глаза мои во тьме не видят, глаза не видят,

Глаза во тьме не видят ничего, любовь

---

[134] notes: 134

Парафраза стихотворения Джойса «Цветок, подаренный моей дочери», написанного в Триесте в 1913 г. Имеется в виду дочь Джойса, Лючия.

[135] notes: 135

У Джойса — игра слов: middle age — и возраст творческой зрелости, и ассоциация с the Middle Ages — средние века.

[136] notes: 136

В «Улиссе» этот образ получит дальнейшее развитие. История станет «кошмаром», от которого один из героев романа, Стивен Дедалус, будет пытаться пробудиться.

[137] notes: 137

Пьяцца дель Эрбе — рыночная площадь в Падуе.

[138] notes: 138
Пять услуг за пять франков *(итал.)*.

моя.

Еще. Не надо больше. Темная любовь, темное томление. Не надо больше. Тьма.

Темнеет. Она идет через piazza. Серый вечер спускается на безбрежные шалфейно-зеленые пастбища, молча разливая сумерки и росу. Она следует за матерью угловато-грациозная, кобылица ведет кобылочку. Из серых сумерек медленно выплывают тонкие и изящные бедра, нежная гибкая худенькая шея, изящная и точеная головка. Вечер, покой, тайна…….. Эгей!
Конюх! Эге-гей![139]

Папаша и девочки несутся по склону верхом на санках: султан и его гарем. Низко надвинутые шапки и наглухо застегнутые куртки, пригревшийся на ноге язычок ботинка туго перетянут накрест шнурком, коротенькая юбка натянута на круглые чашечки колен. Белоснежная вспышка: пушинка, снежинка:

Когда она вновь выйдет на прогулку,

---

[139] notes: 139
«Эгей! Эге-гей!» — возгласы Марчелло и Гамлета, когда они ищут друг друга в сцене с Призраком.

Смогу ли там ее я лицезреть![140]

Выбегаю из табачной лавки и зову ее. Она останавливается и слушает мои сбивчивые слова об уроках, часах, уроках, часах: и постепенно румянец заливает ее бледные щеки. Нет, нет, не бойтесь!

Mio padre:[141] в самых простых поступках она необычна. Unde derivatur? Mia figlia ha una grandissima ammirazione per il suo maestro inglese[142]. Лицо пожилого мужчины, красивое, румяное, с длинными белыми бакенбардами, еврейское лицо поворачивается ко мне, когда мы вместе спускаемся по горному склону. О! Прекрасно сказано: обходительность, доброта, любознательность, прямота, подозрительность, естественность, старческая немощь, высокомерие, откровенность, воспитанность, простодушие, осторожность, страстность, сострадание: прекрасная смесь. Игнатий Лойола, ну, где же

---

[140] notes: 140

Слегка измененные строчки из стихотворения английского поэта-сентименталиста Уильяма Каупера (1731–1800) «Джон Гилпин».

[141] notes: 141

Отец мой *(итал).*

[142] notes: 142

Откуда бы это? *(лат.).* Дочь моя восторгается своим учителем английского языка *(итал.).*

ты![143]

Сердце томится и тоскует. Крестный путь любви?

Тонкие томные тайные уста: темнокровные моллюски.

Из ночи и ненастья я смотрю туда, на холм, окутанный туманами. Туман повис на унылых деревьях. Свет в спальне. Она собирается в театр. Призраки в зеркале….. Свечи! Свечи!

Моя милая. В полночь, после концерта, поднимаясь по улице Сан-Микеле[144], ласково нашептываю эти слова. Перестань, Джеймси![145] Не ты ли, бродя по ночным дублинским улицам, страстно шептал другое имя?[146]

Трупы евреев лежат вокруг, гниют в земле

---

[143] notes: 143

В «Улиссе» Стивен Дедалус также обращается за помощью к Лойоле в девятом эпизоде, «Сцилла и Харибда», когда выстраивает свою хитроумную схоластическую теорию творчества и жизни Шекспира.

[144] notes: 144

На улице Сан-Микеле в Триесте жила Амалия Поппер.

[145] notes: 145

Прямое указание, что происходящее относится к самому Джойсу.

[146] notes: 146

Имеется в виду жена Джойса, Нора Барнакль.

своего священного поля[147] …Здесь могила ее сородичей, черная плита, безнадежное безмолвие. Меня привел сюда прыщавый Мейсел. Он там за деревьями стоит с покрытой головой у могилы жены, покончившей с собой, и все удивляется, как женщина, которая спала в его постели, могла прийти к такому концу[148]… Могила ее сородичей и ее могила: черная плита, безнадежное безмолвие: один шаг. Не умирай!

Она поднимает руки, пытаясь застегнуть сзади черное кисейное платье. Она не может: нет, не может. Она молча пятится ко мне. Я поднимаю руки, чтобы помочь: ее руки падают. Я держу нежные, как паутинка, края платья и, застегивая его, вижу сквозь прорезь черной кисеи гибкое тело в оранжевой рубашке. Бретельки скользят по плечам, рубашка медленно падает: гибкое гладкое голое тело мерцает серебристой чешуей. Рубашка скользит по изящным из гладкого, отшлифованного серебра ягодицам и по бороздке — тускло-серебряная тень… Пальцы холодные легкие ласковые….. Прикосновение, прикосно-

[147] notes: 147

Имеется в виду еврейское кладбище (Cimitero israelitico) в Триесте.

[148] notes: 148

Жена некоего Филиппо Мейсела, Ада Хирш Мейсел, покончила жизнь самоубийством 20 октября 1911 г.

вение.

Безумное беспомощное слабое дыхание. А ты нагнись и внемли: голос. Воробей под колесницей Джаггернаута[149] взывает к владыке мира. Прошу тебя, господин Бог, добрый господин Бог! Прощай, большой мир!.... Aber das ist eine Schweinerei[150].

Огромные банты на изящных бальных туфельках: шпоры изнеженной птицы.

Дама идет быстро, быстро, быстро..... Чистый воздух на горной дороге. Хмуро просыпается Триест: хмурый солнечный свет на беспорядочно теснящихся крышах, крытых коричневой черепицей черепахоподобных; толпы пустых болтунов в ожидании национального освобождения[151]. Красавчик встает с постели жены

---

[149] notes: 149

Джаггернаут, или, правильнее, Джаганнахта («владыка мира»), в индуистской мифологии особая форма Вишну-Кришны. Из двадцати четырех праздников в честь Джаггернаута особенно большое число богомольцев привлекает Ратхаятра — шествие колесницы. Многие в экстазе бросаются под колесницу и погибают.

[150] notes: 150

Ведь это же свинство! *(нем.)*

[151] notes: 151

Джойс всегда очень резко отзывался о позерстве и фальшивой фразе, особенно в политике.

любовника своей жены; темно-синие свирепые глаза хозяйки сверкают, она суетится, снует по дому, сжав в руке стакан уксусной кислоты..... Чистый воздух и тишина на горной дороге, топот копыт. Юная всадница. Гедда! Гедда Габлер![152]

Торговцы раскладывают на своих алтарях юные плоды: зеленовато-желтые лимоны, рубиновые вишни, поруганные персики с оборванными листьями. Карета проезжает сквозь ряды, спицы колес ослепительно сверкают. Дорогу! В карете ее отец со своим сыном. У них глаза совиные и мудрость совиная. Совиная мудрость в глазах, они толкуют свое учение Summa contra gentiles[153].

Она считает, что итальянские джентльмены поделом выдворили Этторе Альбини, критика

---

[152] notes: 152

Гедда Габлер — героиня одноименной драмы Г. Ибсена (1828– 1906). Для Джойса — символ молодости, порыва.

[153] notes: 153

«Сумма против язычников» *(лат.).* Известный труд средневекового философа и теолога Фомы Аквинского (1225?–1274). Так Джойс здесь называет талмуд, иронически намекая на «неистинное» (языческое) вероисповедание евреев.

«Secolo»[154], из партера за то, что тот не встал, когда оркестр заиграл Королевский гимн. Об этом говорили за ужином. Еще бы! Свою страну любишь, когда знаешь, какая это страна!

Она внемлет: дева весьма благоразумная.

Юбка, приподнятая быстрым движением колена; белое кружево — кайма нижней юбки, приподнятой выше дозволенного; тончайшая паутина чулка. Si pol?[155]

Тихо наигрываю[156], напевая томную песенку Джона Дауленда[157]. *Горечь разлуки*[158]:мне тоже горько расставаться. Тот век предо мной. Глаза распахиваются из тьмы желания, затмевают зарю, их мерцающий блеск — блеск нечистот в сточной канаве перед дворцом слюнтяя Джейм-

---

[154] notes: 154

Этторе Альбини (1869–1954) — музыкальный критик римской социалистической газеты «Аванти!». Джойс его ошибочно называет критиком туринской газеты «Секоло»: "Secolo" — век *(итал.)*. Регулярно выступал ее статьями, осуждающими монархию, национализм, а в 40-е годы — фашизм. Джойс описывает случай, происшедший 17 декабря 1911 г. на концерте в «Ла Скала», который давался в пользу итальянского Красного Креста и семей солдат, убитых или раненых в Ливии. Когда заиграли гимн, Альбини демонстративно остался сидеть, тем самым выразив свой протест против колониальных войн, которые в это время вела Италия.

[155] notes: 155

Правильнее: Si puo? — Позвольте? *(итал.)* — первые слова пролога к опере Э. Леонкавалло (1857–1919) «Паяцы» (1892). Это слово произносит

паяц Тонио. Для Джойса такая аллюзия — способ иронического снижения собственного образа — образа влюбленного Джойса.

[156] notes: 156

Известно увлечение самого Джойса музыкой, у него был превосходный тенор. В Ирландии, даже когда он стал известным писателем, его продолжали считать певцом. Свой поэтический цикл «Камерная музыка» он попросил положить на музыку и очень любил сам исполнять эти песни, напоминавшие небольшие арии елизаветинской эпохи.

[157] notes: 157

Джон Дауленд (1563?–1626) — английский лютнист и композитор.

[158] notes: 158

Так назывались в эпоху Возрождения прощальные песни.

са[159]. Вина янтарные, замирают напевы нежных мелодий, гордая павана, уступчивые знатные дамы в лоджиях[160], манящие уста, загнившие сифилисные девки, юные жены в объятиях своих соблазнителей, тела, тела.

В пелене сырого весеннего утра над утренним Парижем плывет слабый запах: анис, влажные опилки, горячий хлебный мякиш: и когда я перехожу мост Сен-Мишель, синевато-стальная вешняя вода леденит сердце мое. Она плещется и ласкается к острову, на котором живут люди со времен каменного века…… Ржавый мрак в огромном храме с мерзкой лепниной. Холодно, как в то утро: quia frigas erat[161]. Там, на ступенях главного придела, обнаженные, словно тело Господне, простерты в тихой молитве священнослужители. Невидимый голос парит, читая нараспев

---

[159] notes: 159

Имеется в виду король Джеймс (или Яков) Стюарт (1566, прав. 1603–1625). Его правление связывают с угасанием духа Возрождения. Джойс называет его «слюнтяем», намекая на его крайне нерешительную и противоречивую внешнюю и внутреннюю политику.

[160] notes: 160

Имеются в виду лоджии Ковент-Гардена, площади в Лондоне, построенные в 1630 г. архитектором Иниго Джонсом.

[161] notes: 161

Потому что было холодно *(лат.).* Цитата из Евангелия от Иоанна (18, 18): «Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись».

из Осии. Haec dicit Dominus: in tribulatione sua mane consurgent ad me. Venite et revertamur ad Dominum[162]..... Она стоит рядом со мной, бледная и озябшая, окутанная тенями темного как грех нефа, тонкий локоть ее возле моей руки. Ее тело еще помнит трепет того сырого, затянутого туманом утра, торопливые факелы, жестокие глаза[163]. Ее душа полна печали, она дрожит и вот-вот заплачет. Не плачь по мне, о дщерь Иерусалимская!

Я растолковываю Шекспира понятливому Триесту: Гамлет, вещаю я, который изысканно вежлив со знатными и простолюдинами, груб только с Полонием. Разуверившийся идеалист, он, возможно, видит в родителях своей возлюбленной лишь жалкую попытку природы воспроизвести ее образ..... Неужели не замеча-

[162] notes: 162

Так говорит Господь: «В скорби своей они с раннего утра будут искать Меня и говорить: «пойдем и возвратимся к Господу!..» *(лат.).* (Книга пророка Осии, 6,1). Здесь описывается месса в Страстную Пятницу.

[163] notes: 163

Ассоциативно Джойс описывает сцену предательства Иисуса: «И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и кольями…» (Еванг. от Марка, 14, 43).

ли?[164]

Она идет впереди меня по коридору, и медленно рассыпается темный узел волос. Медленный водопад волос. Она чиста и идет впереди, простая и гордая. Так шла она у Данте, простая и гордая, и так, не запятнанная кровью и насилием, дочь Ченчи, Беатриче[165], шла к своей смерти:

.....Мне
Пояс затяни и завяжи мне волосы
В простой, обычный узел[166].

Горничная говорит, что ее пришлось немедленно отвести в больницу, poveretta[167], что она очень, очень страдала, poveretta, это очень серьезно..... Я ухожу из ее опустевшего дома.

Слезы подступают к горлу. Нет! Этого не может

---

[164] notes: 164

Лекции о Шекспире Джойс читал в Триесте с 4 ноября 1912 г. по 10 февраля 1913 г. Лекции носили «психоаналитический» характер. Правда, сам Джойс всегда отмечал, что Фрейд не оказал на него никакого влияния, а его собственные психоаналитические штудии не больше чем «игра ума».

[165] notes: 165

Имеются в виду Беатриче — героиня Данте и другая Беатриче, героиня пьесы Шелли (1792–1822) «Ченчи» (1819). Мстя за совершенное над ней насилие, Беатриче убила своего отца, тирана Ченчи. Власти приговорили ее к смерти.

[166] notes: 166

Реплика Беатриче в пьесе Шелли «Ченчи».

[167] notes: 167
Бедняжка («гол.).

быть, так сразу, ни слова, ни взгляда. Нет, нет! Мое дурацкое счастье не подведет меня!

Оперировали. Нож хирурга проник в ее внутренности и отдернулся, оставив свежую рваную рану в ее животе. Я вижу глубокие темные страдальческие глаза, красивые, как глаза антилопы. Страшная рана? Похотливый Бог!

И снова в своем кресле у окна, счастливые слова на устах, счастливый смех. Птичка щебечет после бури, счастлива, глупенькая, что упорхнула из когтей припадочного владыки и жизнедавца, щебечет счастливо, щебечет и счастливо чирикает.

Она говорит, что будь «Портрет художника» откровенен лишь ради откровенности[168], она спросила бы, почему я дал ей прочесть его. Конечно, вы спросили бы! Дама ученая.

Вся в черном — у телефона. Робкий смех, слезы, робкие гаснущие слова… Palrero colla mamma[169]…. Цып, цып! Цып, цып! Черная курочка-молодка испугалась: семенит, останавливает-

---

[168] notes: 168

Видимо, ученица Джойса читала третью главу «Портрета», которая была перепечатана на машинке в июне 1914 г.

[169] notes: 169

Поговори с мамой *(итал.)*.

ся, всхлипывает: где мама, дородная курица.

Галерка в опере. Стены в подтеках сочатся испарениями. Бесформенная груда тел сливается в симфонии запахов: кислая вонь подмышек, высосанные апельсины, затхлые притирания, едкая моча, серное дыхание чесночных ужинов, газы, пряные духи, наглый пот созревших для замужества и замужних женщин, вонь мужчин..... Весь вечер я смотрел на нее, всю ночь я буду видеть ее: высокая прическа, и оливковое овальное лицо, и бесстрастные бархатные глаза. Зеленая лента в волосах и вышитое зеленой нитью платье: цвет надежды плодородия пышной травы, этих могильных волос.

Мои мольбы: холодные гладкие камни, погружающиеся в омут.

Эти бледные бесстрастные пальцы касались страниц, отвратительных и прекрасных[170], на которых позор мой будет гореть вечно. Бледные бесстрастные непорочные пальцы. Неужто они никогда не грешили?

---

[170] notes: 170

По-видимому, парафраза реплики ведьм в первой сцене «Макбета» Шекспира: «Прекрасное — отвратительно, и отвратительное — прекрасно».

Тело ее не пахнет: цветок без запаха[171].

Лестница. Холодная хрупкая рука: робость, молчание: темные, полные истомы глаза: тоска.

Кольца серого пара над пустошью. Лицо ее, такое мертвое и мрачное! Влажные спутанные волосы. Ее губы нежно прижимаются, я чувствую, как она вздыхает. Поцеловала.

Голос мой тонет в эхе слов, так тонул в отдающихся эхом холмах полный мудрости и тоски голос Предвечного, звавшего Авраама[172]. Она откидывается на подушки: одалиска в роскошном полумраке. Я растворяюсь в ней: и душа моя струит, и льет, и извергает жидкое и обильное семя во влажный теплый податливо призывный покой ее женственности..... Теперь бери ее, кто хочет!....[173]

---

[171] notes: 171

Видимо, образ навеян строчкой из 130-го сонета Шекспира: «А тело пахнет так, как пахнет тело» (пер. С. Я. Маршака).

[172] notes: 172

Имеются в виду мистические беседы Авраама с Богом (Книга Бытия, гл. XII–XXV).

[173] notes: 173

Этот отрывок в несколько измененном виде встречается в «Портрете» и в пьесе «Изгнанники».

Выйдя из дома Ралли[174], я увидел ее, она подавала милостыню слепому. Я здороваюсь, мое приветствие застает ее врасплох, она отворачивается и прячет черные глаза василиска. E col suo vedere attosca l'uomo quando lo vede[175]. Благодарю, мессер Брунетто, хорошо сказано.

Постилают мне под ноги ковры для Сына Человеческого[176]. Ожидают, когда я войду. Она стоит в золотистом сумраке зала, холодно, на покатые плечи накинут плед; я останавливаюсь, ищу взглядом, она холодно кивает мне, проходит вверх по лестнице, искоса метнув в меня ядовитый взгляд.

Гостиная, дешевая, мятая гороховая занавеска. Узкая парижская комната. Только что здесь

---

[174] notes: 174

Барон Амброджо Ралли (1878–1938) — знатный горожанин Триеста, владелец дворца на пьяцца Скорола.

[175] notes: 175

Одно ее лицезрение отравляет смотрящего на нее *(итал.)* — фраза из произведения итальянского писателя Брунетто Латини (ок. 1220 — ок. 1294) «Книга сокровищ» (изд. 1863), которая считается трехтомной энциклопедией средневековых знаний. В ней Латини пишет о том, сколь опасен взгляд василиска.

[176] notes: 176

Ироническая парафраза описания въезда Иисуса в Иерусалим: «Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: осанна! благословен грядущий во имя Господне!» (Еванг.

от Марка, 11, 8–9).

лежала парикмахерша. Я поцеловал ее чулок и край темно-ржавой пыльной юбки. Это другое. Она. Гогарти пришел вчера познакомиться. На самом деле из-за «Улисса». Символ совести… Значит, Ирландия?[177] А муж? Расхаживает по коридору в мягких туфлях или играет в шахматы с самим собой[178]. Зачем нас здесь оставили? Парикмахерша только что лежала тут, зажимая мою голову между бугристыми коленями…… Символ моего народа. Слушайте!

Рухнул вечный мрак. Слушайте[179]!

— Я не убежден, что подобная деятельность духа или тела может быть названа нездоровой — Она говорит. Слабый голос из-за холодных звезд. Голос мудрости. Говори! О, говори, надели меня мудростью! Я никогда не слышал этого голоса.

---

[177] notes: 177

Оливер Джон Гогарти (1878–1957) — ирландский поэт, известный дублинский врач, друг Джойса, послуживший прототипом Бака Маллигана в «Улиссе».

[178] notes: 178

Имеется в виду и муж Амалии Поппер, и один из героев «Улисса» — Леопольд Блум, прототипом образа которого послужил, однако, не муж Амалии, которого Джойс не знал, но ее отец, негоциант из Триеста, Леопольд Поппер.

[179] notes: 179

Из-за смелости и резкости критики Джойса, его откровенности в изображении интимной жизни человека, дерзости формального эксперимента первые эпизоды «Улисса» сразу же вызвали ожесточенные споры. В отрывке полифонически звучат суждения современников об

«Улиссе». За репликами узнаются авторы — У. Б. Йейтс, Дж. Б. Шоу, Т. С. Элиот, считавшие роман честной и гениальной книгой; Р. Олдингтон и Г. Уэллс, не принявшие этого произведения.

Извиваясь змеей, она приближается ко мне в мятой гостиной. Я не могу ни двигаться, ни говорить. Мне не скрыться от этой звездной плоти. Мудрость прелюбодеяния. Нет. Я уйду. Уйду.

— Джим, милый! –

Нежные жадные губы целуют мою левую подмышку: поцелуй проникает в мою горящую кровь. Горю! Съеживаюсь, как горящий лист! Жало пламени вырывается из-под моей правой подмышки. Звездная змея поцеловала меня: холодная змея в ночи. Я погиб!

— Нора![180] –

Ян Питерс Свелинк[181]. От странного имени старого голландского музыканта становится странной и далекой всякая красота. Я слышу его вариации для клавикордов на старый мотив: *Молодость проходит.* В смутном тумане старых звуков появляется точечка света: вот-вот заговорит душа. Молодость проходит. Конец настал. Этого никогда не будет. И ты это знаешь. И что? Пиши об этом, черт тебя подери, пиши! На что же еще ты годен?

---

[180] notes: 180

Имя жены Джойса и героини драмы Г. Ибсена «Кукольный дом».

[181] notes: 181

Ян Питерс Свелинк (1562–1621) — нидерландский композитор и органист.

«Почему?»

«Потому что в противном случае я не смогла бы вас видеть». Скольжение — пространство — века — лиственный водопад звезд и убывающие небеса — безмолвие — безнадежное безмолвие — безмолвие исчезновения — в ее голос.

Non hune sed Barabbam![182]

Запустение. Голые стены. Стылый дневной свет. Длинный черный рояль: мертвая музыка. Дамская шляпка, алый цветок на полях и зонтик, сложенный. Ее герб: шлем, червлень и тупое копье на щите, вороном[183].

Посылка: любишь меня, люби мой зонтик.

---

[182] notes: 182

Не Его, но Варавву *(лат.).* Слова евреев, требующих от Пилата освобождения от распятия не Иисуса Христа, но разбойника Вараввы: «Тогда опять закричали все, говоря: не Его, но Варавву. Варавва же был разбойник». (Еванг. от Иоанна, 18, 40).

[183] notes: 183

Здесь Джойс описывает герб Шекспира, так как все упомянутые геральдические элементы: шлем, червлень (алый цвет), копье на черном щите — присутствуют в фамильном гербе драматурга.